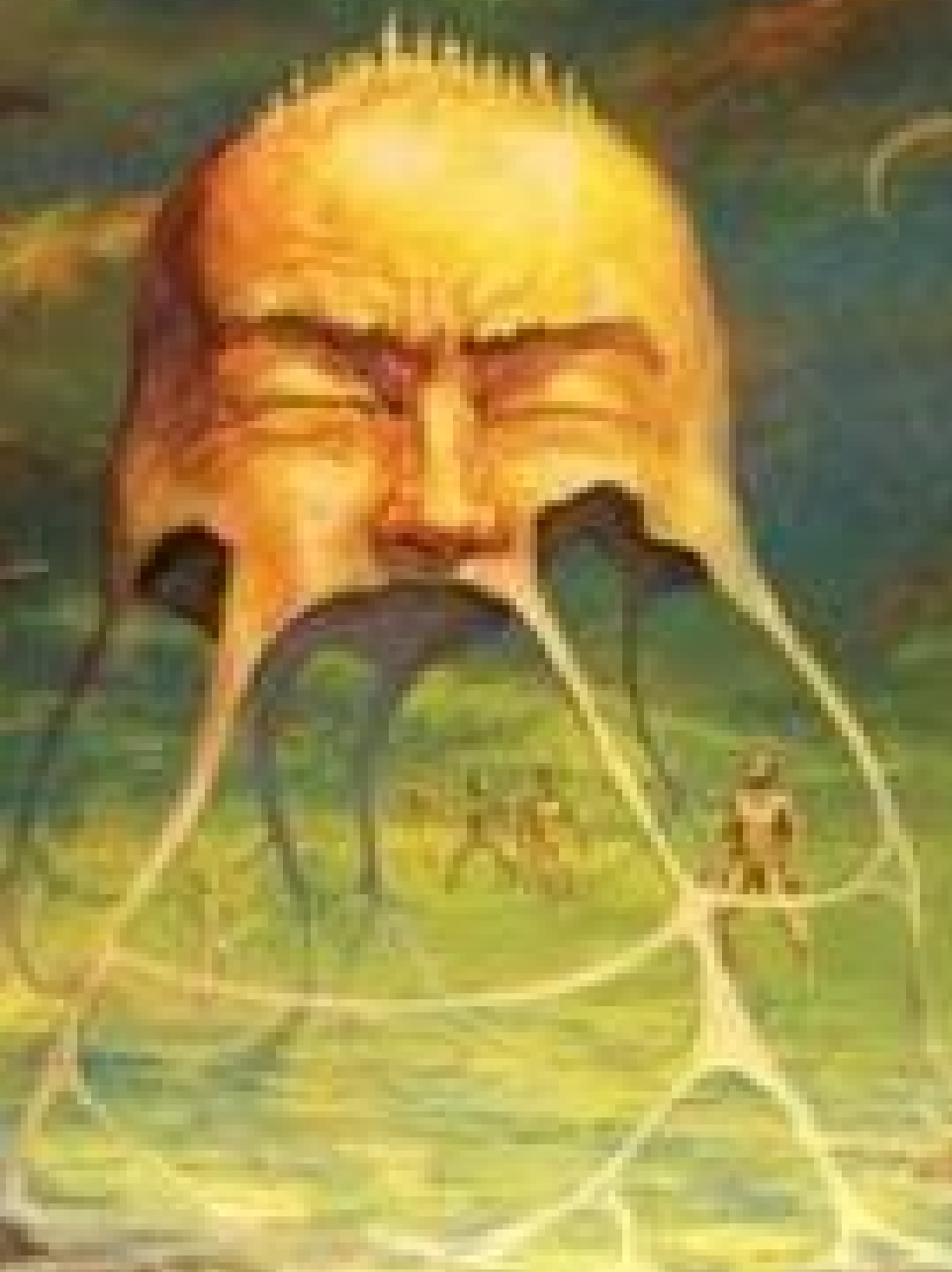


पितृपुत्र

मन्त्रपुत्र

खेचरि चरित



Annotation

Сбывшиеся и несбывшиеся прогнозы, тайны человеческого духа – об этом рассказы и повести выдающихся русских писателей от В. Брюсова до В. Набокова, которые в своем творчестве не чужды были фантастики.

Наряду с широко известными произведениями, в книгу вошли и произведения читателям малоизвестные, например, повесть А. Иванова и рассказ А. Хейдока.

К сожалению, рассказ «Манекен Футерфаса» В. Каверина в файле отсутствует.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- [Храм снов](#)
 - [Александр Валентинович Амфитеатров](#)
 - [Попутчик](#)
 - [Валерий Яковлевич Брюсов](#)
 - [Республика Южного Креста](#)
 - [Александр Павлович Иванов](#)
 - [Стереоскоп](#)
 - [Александр Иванович Куприн](#)
 - [Жидкое солнце](#)
 - [Александр Степанович Грин](#)
 - [Львиный удар](#)
 - [Лев Иванович Гумилевский](#)
 - [Страна гипербореев](#)
 - [Альфред Петрович Хейдок](#)
 - [Храм снов](#)
 - [Велимир Хлебников](#)
 - [Утес из будущего](#)
 - [Вениамин Александрович Каверин](#)
 - [Манекен Футерфаса](#)
 - [Николай Николаевич Асеев](#)
 - [Завтра](#)
 - [Сигизмунд Доминикович Кржижановский](#)

- [Квадратурин](#)
- [Прикованный Прометеем](#)
- [Алексей Волков](#)
 - [Чужие](#)
- [Андрей Платонович Платонов](#)
 - [Эфирный тракт](#)
- [Владимир Владимирович Набоков](#)
 - [Сказка](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

Благодарим Вас за то, что воспользовались проектом
[NemaloKnig.com](#) - приходите ещё!
[Ссылка на Автора этой книги](#)
[Ссылка на эту книгу.](#)

Храм снов

Русская фантастика 1910–1930 годов

Александр Валентинович Амфитеатров

Попутчик

– А позвольте спросить, милостивый государь: вы не статский советник?

Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотою в вагоне, я не мог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кашне.

– Нет, я не статский советник. А что?

– Так. Едем мы с вами – наружность ваша показалась мне симпатичною – захотелось завязать разговор: вот я и спросил.

– Почему же именно о чине?

– Потому что... да вы, действительно, не статский советник?

– Помилуйте! Куда мне! – закоснелый титуляшка.

– Ну, очень рад, так как – видите ли: я, как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками.

– За что вы их невзлюбили?

– За то, почтеннейший, что я сам статский советник – и вот уже шестнадцать лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратий по сему чину, что, кроме взаимных огорчений, мы друг другу ничего причинить не можем. Но оставим этот вопрос. Куда изволите ехать?

– В Римск.

– А! Это далеко?

– 240 верст от Москвы.

– Гм... жаль, очень жаль...

– Что вы сказали?

– Нет-с, ничего, это я так...

Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался.

– Молодой человек, а, молодой человек! – начал он наконец.

– Что прикажете?

– Повторяю вам: лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию, и... коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу.

- Очень благодарен.
- Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности...
- Какой же это совет? Не напиваться допьяна?
- Нет: слезть с поезда на последней станции пред двести семнадцатой верстой...
- Вот тебе раз! Чего ради?! Слезать на совсем неподходящей станции!
- Неподходящей, может быть, зато безопасной.
- От чего?
- От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на двести семнадцатой версте.
- Что-о-о!
- Господин в сером совершенно серьезно повторил свои слова.
- Вы, конечно, шутите? – сказал я.
- Ничуть. Я, знаете ли, не любил шуток и, когда был в ж... я хочу сказать: когда находился на службе, а в настоящем моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет, непременно.
- Откуда вы знаете?
- На этот вопрос позвольте промолчать.
- Странные заявления моего собеседника сбили меня с панталыка: я недоумевал, кто разговаривает со мной – мистификатор, сумасшедший или, чего доброго, в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и, по странному капризу, задумавший исключить меня из числа своих жертв?
- Что же? – прервал он молчание, – слезете?
- Прежде, чем ответить, позвольте спросить: сами вы далеко ли едете?
- Я? Аккуратно до двести семнадцатой версты.
- Значит, вы не боитесь крушения?
- Я ничего не боюсь.
- Вот как! После этого вы просто железный человек.
- Увы! Нет... Когда я был в ж... когда я находился на службе, я был трусом из трусов, но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно: я ведь, с позволения вашего сказать, покойник.
- Брр... кккка-а-аккк?!?!?!..

– Покойник-с, мертвец, если вам больше нравится, вообще нежить... Не извольте стучать зубами: от этого, кроме порчи эмали, ничего не получается, – а лучше выслушайте!

Шестнадцать лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ станции Ухорезовки я вышел из вагона на тормоз покурить...

Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона... Как вдруг – свисток, другой, третий, – и, прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей машиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки, каждое полменя было сплюснуто буферами в лепешку, далеко не отличающуюся красотой форм, и, в заключение, обе лепешки обратились под ударами колес, в тесто... что я говорю: в тесто! – в муку, сударь, мельчайшую муку! Несмотря на быстроту действий, все это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего брэнного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. Пейзаж? А?

– Очень... дддолжно быть... непр... противно! – пролепетал я.

– И неприятно, и неопратно. Вы совершенно правы, милостивый государь!

Несколько дней я блуждал, в качестве духа, над земной поверхностью, но вскоре, унаследованный от земного бытия, инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным.

Я скромн, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений, да если бы и ни одного не сотворил, то – всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают, как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят!

Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию:

Сим извещаются г-да покойники всех национальностей, возрастов и полов, что, в виду, распространившегося между ними, за последнее время, самозванства, отныне будут приниматься, как в рай, так и в ад, только души, могущие документально доказать свою

личность, или, по крайней мере, представить голову и две трети своего тела для проверки примет по реестру.

Душам, не удовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира, без цели и приюта, в пустыне мира, со всеми такового бродяжничества последствиями.

Примечание. Отговорки утратою тела не принимаются, в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы.

Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона; но мне-то от того не легче стало! Поди-ка, собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами, щебнем! Целый год я мыкался, не знал, как быть? Наконец набрел на счастливую идею:

Черти требуют для удостоверения личности только две трети тела. Что, если я, занимая у разных покойников, части тела из остающейся в их распоряжении трети составлю себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано, сделано. Представил заявление, куда надо. Ответили: практиковалось уже не раз и с успехом.

Однако поставили условиями: 1) производить займы исключительно у лиц одного со мной чина; 2) у погибших приблизительно при тех же условиях, как я сам.

С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я, и, едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю:

– Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, – покойники не кушают, – а я бы вам хороший процент дал.

– И дают?

– Какое! До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы, – между нами будь сказано, – почти всегда насильственные. Пока дух, после катастрофы, стоит, ополоумевши, над телом, – бросишься, как коршун, урвешь, сколько надо, и поминай, как звали! Вот – левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги, обе ноги я подхватил, по случаю, на Кукуевке, живот приобрел у какого-то

штутс-рата за границей. Этаким манером я собрал себе не только две трети, но даже целое тело.

Не хватает теперь лишь главного органа... как вы уже вероятно заметили, – головы!

Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было, а шляпа, Бог весть, какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне.

– Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо нахрапом. Голова вещь важная, ее ни за какие проценты не займешь – разве уж на дурака из дураков нарвешься... А, знаете ли? – с нами в поезде, в следующем вагоне, едет один статский... ах, сколь хороша голова! – сытая, с плешкой этакой, лицо крупчатое, бакенбарды русые... Вот бы! ах!

Голос попутчика даже замер от восторга...

– Сударь! Билет ваш пожалуйста! – раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся... Ах, слава Богу, все это было только сон!

На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил двухсотую версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией: бакенбарды, холеные щеки, все – точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягу принять, что господин этот – статский советник накануне генеральства... Признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрый предчувствием.

– 210... 211... 212... 213... 214... Батюшки!.. 215...

Статский советник все стоял насупротив меня и курил.

– И тот ведь тоже покурить вышел! – подумал я, – 216... А вдруг в самом деле будет крушение?!.. Будет... не будет... будет... не будет... Ой, будет! ей-Богу, будет!! Вот оно!!!

И, при первом тревожном свистке, я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел, вверх тормашками, под насыпь.

– Говорил я вам! – донеслось до меня издали.

С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда серую фигуру, как будто знакомую мне... В руках у фигуры было что-то шарообразное...

Со мной сделался обморок.

Валерий Яковлевич Брюсов

Республика Южного Креста

Статья в специальном выпуске «Североевропейского вечернего вестника»

За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий, явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, все были поражены психическим расстройством.

Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех достоверных сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе. Республика Южного Креста возникла сорок лет тому назад из треста сталелитейных заводов, расположенных в южно-полярных областях. В циркулярной ноте разосланной правительствам всего земного шара, новое государство выразило притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах южно-полярного круга, равно как на все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой Республики не встретили противодействия со стороны пятнадцати великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за полярным кругом, но тесно примыкавших к южно-полярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных – формальностей Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств и представители ее аккредитованы при их правительствах.

Главный город Республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, подымавшегося над городской

крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена не проницаемая для света крыша, с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь, тоже в шесть месяцев, но улицы Звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте.

По последней переписи, число жителей Звездного города достигало 2 500 000 человек. Все остальное население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали Звездный город. Благодаря остроумному применению электрической силы, входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников, в окно вагона, проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикая жизнь была давно истреблена, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительнее была напряженная жизнь портовых городов и заводских центров. Что бы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около семи десятых всего добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики.

Конституция Республики, по внешним признакам, казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60% всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была

обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжении, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения: библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и т. д. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей, работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения, по семьи граждан, прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать Республики. Из среды тех же работников, путем всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики, ведавшую все вопросы политической жизни страны, без права изменять ее основные законы.

Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам; они приобретали материалы и машины для работы; они вели все хозяйство заводов. Через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиардами. Законодательная Палата лишь утверждала представляемые ей росписи доходов и расходов по управлению заводами, хотя баланс этих росписей далеко превышал весь бюджет Республики. Влияние Совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время влияние Совета, хотя и не прямое, на внутренние дела Республики всегда было решающим. Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета.

Сохранением власти в своих руках Совет был обязан прежде всего беспощадной регламентации всей жизни страны. При

кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно, в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома.

Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет. Заводы были полны агентами Совета. При малейшем проявлении недовольства Советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в Республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают, что в случае неуклонной агитации отдельных лиц Совет не брезгал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования Республики общим голосованием граждан не было избрано в Совет ни одного директора, враждебного членам-учредителям.

Население Звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок. То были, так сказать, государственные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность жить богато. Не удивительно поэтому, что Звездный город считался одним из самых веселых городов мира. Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины Звездного города поражали богатством выбора; рестораны – роскошью и утонченностью сервировки; притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако правительственная регламентация жизни сохранялась и в Звездном городе. Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены,

но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа, сохранялась строгая цензура печати, содержался Советом обширный штат шпионов. Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция всеведущего Совета.

Таков был, в самых общих чертах, строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение роковой эпидемии, приведшей к гибели Звездного города, а может быть, и всего молодого государства.

Первые случаи заболевания «противоречием» были отмечены в Республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда международном медицинском конгрессе в Лхассе ей было посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах Звездного города ни когда не было недостатка в заболевших ею. Свое название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят и делают другое. (Научное название болезни – *tarna contradicena*.) Начинается она обыкновенно с довольно слабо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо «да» говорит «нет»; желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью и т. д. Большею частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своими поступками: намереваясь идти влево, поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и т. д. С развитием болезни эти «противоречия» наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, сообразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми. Нарушается и правильность физиологических отправлений организма. Сознывая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до исступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния

в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному исходу; случаи выздоровления крайне редки.

Эпидемический характер *tarna contradicensa* приняла в Звездном городе со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных «противоречием» никогда не превышало 2% общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце (осеннем месяце в Республике) сразу возросло до 25% и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2% всего населения, т. е. около 50 000 человек, официально признавались больными «противоречием». Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало не к кому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце нельзя было встретить семьи, где не было больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, а число больных увеличивалось. Можно думать, что не далеки от истины те, кто утверждают, что в августе месяце все, оставшиеся в Звездном городе, были поражены психическим расстройством.

За первыми проявлениями эпидемии можно следить по местным газетам, заносившим их во все возрастающую у них рубрику: *tarna contradicensa*. Так как распознавание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодом. Заболевший кондуктор метрополитэна вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейшими диссонансами исполняемую оркестром пьесу – и т. д. Длинный ряд таких происшествий давал пищу остроумным выходкам местных фельетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро

остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший «противоречием», прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и его пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим событием. Затем две няньки в городском детском саду, в припадке «противоречия», перерезали горло сорок одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек.

После этого все газеты, все общество закричали, что надо немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание соединенных Городского Совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы, открыть новые и везде устроить покои для изоляции заболевших «противоречием», напечатать и распространить в 500 000 экземплярах брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания первой помощи и т. д. Постановлено было также отправлять ежедневно по всем дорогам поезда исключительно для больных, так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое «Общество для борьбы с эпидемией», члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти и сходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась с каждым днем, поражая равно стариков и детей, мужчин и женщин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержных и распутных. И скоро все общество было охвачено неодолимым, стихийным ужасом перед неслыханным бедствием.

Началось бегство из Звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, директоров, членов Законодательной Палаты и Городского Совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное пришлое население – иностранцы, охотно

съезжавшиеся в «самый веселый город южного полушария», артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем, при новых успехах эпидемии, кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, держатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец, дело дошло и до коренных, местных жителей. По закону, бывшим работникам был воспрещен выезд из Республики без особого разрешения правительства, под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие городских учреждений, бежали чины народной милиции, бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи. Стремление бежать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать.

Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. За места на управляемых аэростатах, которые могли поднять всего десяток пассажиров, платили целые состояния... В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали завоеванного места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог Республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из Звездного города поезда шли переполненными; пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять наружи, хотя, при скорости хода современных электрических дорог, это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австралии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов Республики в другие страны. Не менее обогатились две Южные Компании аэростатов, которые успели совершить около десяти рейсов и вывезли из Звездного города последних, замедливших миллиардеров... По направлению к Звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми; ни за какое жалованье нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу; только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести

железнодорожным линиям выехало из Звездного города полтора миллиона человек, т. е. почти две трети всего населения.

Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель Городского Совета Орас Дивиль. В экстренном заседании 5 июня Городской Совет по соглашению с Палатой и Советом директоров вручил Дивиллю диктаторскую власть над городом с званием Начальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из Звездного города в Северный порт. Имя Ораса Дивилия должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе. Ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников. Он сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно децимируемых эпидемией. Орасу Дивиллю обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице, при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей катастрофы, так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграммы, которые он ежедневно и по нескольку раз в день отправлял из Звездного города во временную резиденцию правительства Республики, в Северный порт.

Первым делом Дивилия, при вступлении в должность Начальника города, была попытка успокоить встревоженные умы населения. Были изданы манифесты, указывавшие на то, что психическая зараза легче всего переносится на людей возбужденных, и призывавшие людей здоровых и уравновешенных влиять своим авторитетом на лиц слабых: и нервных. При этом Дивиль вошел в сношение с «Обществом для борьбы с эпидемией» и распределил между его членами все общественные места, театры, собрания, площади, улицы. В эти дни почти не проходило часа, чтобы в любом месте не обнаруживались заболевания. То там, то здесь замечались лица или целые группы лиц, своим поведением явно доказывающие свою ненормальность.

Большей частью у больных, понявших свое состояние, являлось немедленное желание обратиться за помощью. Но, под влиянием расстроенной психики, это желание выражалось у них какими-нибудь враждебными действиями против близ стоящих. Больные хотели бы спешить домой или в лечебницу, но вместо этого испуганно бросались бежать к окраинам города. Им являлась мысль просить кого-нибудь принять в них участие, но вместо того они хватали случайных прохожих за горло, душили их, наносили им побои, иногда даже раны ножом или палкой. Поэтому толпа, как только оказывался поблизости человек, пораженный «противоречием», обращалась в бегство. В эти-то минуты и являлись на помощь члены «Общества». Одни из них овладевали больным, успокаивали его и направляли в ближайшую лечебницу; другие старались вразумить толпу и объяснить ей, что нет никакой опасности, что случилось только новое несчастье, с которым все должны бороться по мере сил.

В театрах и собраниях случаи внезапного заболевания очень часто приводили к трагическим развязкам. В опере несколько сот зрителей, охваченных массовым безумием, вместо того, чтобы выразить свой восторг певцам, ринулись на сцену и осыпали их побоями. В Большом Драматическом театре внезапно заболевший артист, который по роли должен был окончить самоубийством, произвел несколько выстрелов в зрительный зал. Револьвер, конечно, не был заряжен, но под влиянием нервного напряжения у многих лиц в публике обнаружилась уже таившаяся в них болезнь. При происшедшем смятении, в котором естественная паника была усилена «противоречивыми» поступками безумцев, было убито несколько десятков человек. Но всего ужаснее было происшествие в Театре Фейерверков. Наряд городской милиции, назначенный туда для наблюдения за безопасностью от огня, в припадке болезни поджег сцену и те вуали, за которыми распределяются световые эффекты. От огня я в давке погибло не менее 200 человек. После этого события Орас Дивиль распорядился прекратить все театральные и музыкальные исполнения в городе.

Громадную опасность для жителей представляли грабители и воры, которые при общей дезорганизации находили широкое поле для своей деятельности. Уверяют, что иные из них прибывали в это время в Звездный город из-за границы. Некоторые симулировали безумие,

чтобы остаться безнаказанными. Другие не считали нужным даже прикрывать открытого грабежа притворством. Шайки разбойников Смело входили в покинутые магазины и уносили более ценные вещи, врываются в частные квартиры и требовали золота, останавливали прохожих и отнимали у них драгоценности, часы, перстни, браслеты. К грабёжам присоединились насилия всякого рода, и прежде всего насилия над женщинами. Начальник города высылал целые отряды милиции против преступников, но те отваживались вступать в открытые сражения. Были страшные случаи, когда среди грабителей или среди милиционеров внезапно оказывались заболевшие «противоречием», обращавшие оружие против своих товарищей. Арестованных грабителей Начальник сначала высылал из города. Но граждане освобождали их из тюремных вагонов, чтобы занять их место. Тогда Начальник принужден был приговаривать уличенных разбойников и насильников к смерти. Так, после почти трехвекового перерыва, была возобновлена на земле открытая смертная казнь.

В июне в городе стала сказываться нужда в предметах первой необходимости. Недоставало жизненных припасов, недоставало медикаментов. Подвоз по железной дороге начал сокращаться; в городе же почти прекратились всякие производства. Дивиль организовал городские хлебопекарни и раздачу хлеба и мяса всем жителям. В городе были устроены общественные столовые по образцу существовавших на заводах. Но невозможно было найти достаточного числа работающих для них. Добровольцы-служащие трудились до изнеможения, но число их уменьшалось. Городские крематории пылали круглые сутки, но число мертвых тел в покойницких не убывало, а возрастало. Начали находить трупы на улицах и в частных домах. Городские центральные предприятия по телеграфу, телефону, освещению, водопроводу, канализации обслуживались все меньшим и меньшим числом лиц. Удивительно, как Дивиль успевал всюду. Он за всем следил, всем руководил. По его сообщениям можно подумать, что он не знал отдыха. И все спасшиеся после катастрофы свидетельствуют единогласно, что его деятельность была выше всякой похвалы.

В середине июня стал чувствоваться недостаток служащих на железных дорогах. Не было машинистов и кондукторов, чтобы обслуживать поезда. 17 июня произошло первое крушение на Юго-

Западной линии, причиной которого было заболевание машиниста «противоречием». В припадке болезни машинист бросил весь поезд с пятисаженной высоты на ледяное поле. Почти все ехавшие были убиты или искалечены. Известие об этом, доставленное в город со следующим поездом, было подобно удару грома. Тотчас был отправлен санитарный поезд. Он привез трупы и изувеченные полуживые тела. Но к вечеру того же дня распространилась весть, что аналогичная катастрофа разразилась и на Первой линии. Два железнодорожных пути, соединяющих Звездный город с миром, оказались испорченными. Были посланы и из города и из Северного порта отряды для исправления путей, но работа в тех странах почти невозможна в зимние месяцы. Пришлось отказаться от надежды восстановить в скором времени движение.

Эти две катастрофы были лишь образцами для следующих. Чем с большей тревогой брались машинисты за свое дело, тем вернее в болезненном припадке они повторяли проступок своих предшественников. Именно потому, что они боялись, как бы не погубить поезда, они губили его. За пять дней от 18 по 22 июня семь поездов, переполненных людьми, было сброшено в пропасть. Тысячи людей нашли себе смерть от ушибов и голода в снежных равнинах. Только у очень немногих достало сил вернуться в город. Вместе с тем все шесть магистралей, связывающих Звездный город с миром, оказались испорченными. Еще раньше прекратилось сообщение аэростатами. Один из них был разгромлен разъяренной толпой, которая негодовала на то, что воздушным путем пользуются лишь люди особенно богатые. Все другие аэростаты, один за другим, потерпели крушение, вероятно по тем же причинам, которые приводили к железнодорожным катастрофам. Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества. Некоторое время их связывала только телеграфная нить.

24 июня остановилось движение по городскому метрополитэну ввиду недостатка служащих. 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля Начальник издал приказ всем жителям переселиться в Центральную часть города, совершенно покинув периферии, чтобы облегчить поддержание порядка, распределение

припасов и врачебную помощь. Люди покидали свои квартиры и поселялись в чужих, оставленных владельцами. Чувство собственности исчезло. Никому не жаль было бросить свое, никому не странно было пользоваться чужим. Впрочем, находились еще мародеры и разбойники, которых скорее можно было признать психопатами. Они еще продолжали грабить, и в настоящее время в пустынных залах обезлюдевших домов открывают целые клады золота и драгоценностей, около которых лежит полусгнивший труп грабителя.

Замечательно, однако, что при всеобщей гибели жизнь еще сохраняла свои прежние формы. Еще находились торговцы, которые открывали магазины, продавая – почему-то по невероятным ценам – уцелевшие товары: лакомства, цветы, книги, оружие... Покупатели, не жалея, бросали ненужное золото, а скряги-купцы прятали его, неизвестно зачем. Еще существовали тайные притоны – карт, вина и разврата, – куда убегали несчастные люди, чтобы забыть ужасную действительность. Больные смешивались там со здоровыми, и никто не вел хроники ужасных сцен, происходивших там. Еще выходили две-три газеты, издатели которых пытались сохранить значение литературного слова в общем разгроме. Этих газет, уже в настоящее время перепродающиеся в десять и двадцать раз дороже настоящей своей стоимости, должны стать величайшими библиографическими редкостями. В этих столбцах текста, написанных среди господствующего безумия и набранных полусумасшедшими наборщиками, – живое и страшное отражение всего, что переживал несчастный город. Находились репортеры, которые сообщали «городские происшествия», писатели, которые горячо обсуждали положение дел, и даже фельетонисты, которые пытались забавлять в дни трагизма. А телеграммы, приходившие из других стран, говорившие об истинной, здоровой жизни, должны были наполнять отчаяньем души читателей, обреченных на гибель.

Делались безнадежные попытки спастись. В начале июля громадная толпа мужчин, женщин и детей, руководимая неким Джоном Дью, решила идти пешком из города в ближайшее населенное место, Лэндонтоун. Дивиль понимал безумие их попытки, но не мог остановить их, и сам снабдил теплой одеждой и съестными припасами. Вся эта толпа, около 2000 человек, заблудилась и погибла

в снежных полях полярной страны, среди черной, шесть месяцев не рассветающей ночи. Некто Уайтинг начал проповедовать иное, более героическое средство. Он предлагал умертвить всех больных, полагая, что после этого эпидемия прекратится. У него нашлось немало последователей, да, впрочем, в те темные дни самое безумное, самое бесчеловечное предложение, сулящее избавление, нашло бы сторонников. Уайтинг и его друзья рыскали по всему городу, врываются во все дома и истребляли больных. В больницах они совершали массовые избиения. В исступлении убивали и тех, кого только можно было заподозрить, что он не совсем здоров. К идейным убийцам присоединились безумные и грабители. Весь город стал ареной битв. В эти трудные дни Орас Дивиль собрал своих сотрудников в дружину, одушевил их и лично повел на борьбу со сторонниками Уайтинга. Несколько суток продолжалось преследование. Сотни человек пали с той и с другой стороны. Наконец, был захвачен сам Уайтинг. Он оказался в последней стадии *tarna contradicensa*, и его пришлось вести не на казнь, а в больницу, где он вскоре и скончался.

8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов. Лица, наблюдавшие за деятельностью центральной электрической станции, в припадке болезни поломали все машины. Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак. Так как в городе не пользовались никаким другим освещением и никаким другим отоплением, кроме электричества, то все жители оказались в совершенно беспомощном положении. Дивиль предвидел такую опасность. Им были заготовлены склады смоляных факелов и топлива. Везде на улицах были зажжены костры. Жителям факелы раздавались тысячами. Но эти скудные светочи не могли озарить гигантских перспектив Звездного города, тянувшихся на десятки километров прямыми линиями, и грозной высоты тридцатиэтажных зданий. С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Ужас и безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей.

С поразительной быстротой обнаружилось во всех падение нравственного чувства. Культурность, словно тонкая кора, выросшая за тысячелетия, спала с этих людей, и в них обнажился дикий человек,

человек-зверь, каким он, бывало, рыскал по девственной земле. Утратилось всякое понятие о праве – признавалась только сила. Для женщин единственным законом стала жажда наслаждений. Самые скромные матери семейства вели себя как проститутки, по доброй воле переходя из рук в руки и говоря непристойным языком домов терпимости. Девушки бегали по улицам, вызывая, кто желает воспользоваться их невинностью, уводили своего избранника в ближайшую дверь и отдавались ему на неизвестно чьей постели. Пьяницы устраивали пиры в разоренных погребах, не стесняясь тем, что среди них валялись неубранные трупы. Все это постоянно осложнялось припадками господствующей болезни. Жалко было положение детей, брошенных родителями на произвол судьбы. Одних насиловали гнусные развратники, других подвергали пыткам поклонники садизма, которых внезапно нашлось значительное число. Дети умирали от голода в своих детских, от стыда и страданий после насилий; их убивали нарочно и нечаянно. Утверждают, что нашлись изверги, ловившие детей, чтобы насытить их мясом свои проснувшиеся людоедские инстинкты.

В этот последний период трагедии Орас Дивиль не мог, конечно, помочь всему населению. Но он устроил в здании Ратуши приют для всех, сохранивших разум. Входы в здание были забаррикадированы и постоянно охранялись стражей. Внутри были заготовлены запасы пищи и воды для 3000 человек на сорок дней. Но с Дивилем было всего 1800 человек мужчин и женщин. Разумеется, в городе были и еще лица с непомраченным сознанием, но они не знали о приюте Дивиля и таились по домам. Многие не решались выходить на улицу, и теперь в некоторых комнатах находят трупы людей, умерших в одиночестве от голода. Замечательно, что среди запершихся в Ратуше было очень мало случаев заболевания «противоречием». Дивиль умел поддерживать дисциплину в своей небольшой общине. До последнего дня он вел журнал всего происходящего, и этот журнал, вместе с телеграммами Дивиля, служит лучшим источником наших сведений о катастрофе. Журнал этот найден в тайном шкафу Ратуши, где хранились особо ценные документы. Последняя запись относится к 20 июля. Дивиль сообщает в ней, что обезумевшая толпа начала штурм Ратуши и что он принужден отбивать нападение залпами из револьверов. «На что я надеюсь, – пишет Дивиль, – не знаю. Помощи

раньше весны ждать невозможно. До весны прожить с теми запасами, какие в моем распоряжении, невозможно. Но я до конца исполню мой долг». Это последние слова Дивиля. Благородные слова!

Надо полагать, что 21 июля толпа взяла Ратушу приступом и что защитники ее были перебиты или рассеялись. Тело Дивиля пока не разыскано. Сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что происходило в городе после 21 июля, у нас нет. По тем следам, какие находят теперь при расчистке города, надо полагать, что анархия достигла последних пределов. Можно представить себе полутемные улицы, озаренные заревом костров, сложенных из мебели и из книг. Огонь добывали ударами кремня о железо. Около костров дико веселились толпы сумасшедших и пьяных. Общая чаша ходила кругом. Пили мужчины и женщины. Тут же совершались сцены скотского сладострастия. Какие-то темные, атавистические чувства оживали в душах этих городских обитателей, и, полунагие, немытые, нечесанные, они плясали хороводами пляски своих отдаленных пращуров, современников пещерных медведей, и пели те же дикие песни, как орды, нападавшие с каменными топорами на мамонта. С песнями, с бессвязными речами, с идиотским хохотом сливались выкрики безумия больных, которые теряли способность выражать в словах даже свои бредовые грезы, и стоны умирающих, корчившихся тут же, среди разлагающихся трупов. Иногда пляски сменялись драками – за бочку вина, за красивую женщину или просто без повода, в припадке сумасшествия, толкавшего на бессмысленные, противоречивые поступки. Бежать было некуда: везде были те же сцены ужаса, везде были оргии, битвы, зверское веселие и зверская злоба – или абсолютная тьма, которая казалась еще более страшной, еще более нестерпимой потрясенному воображению.

В эти дни Звездный город был громадным черным ящиком, где несколько тысяч еще живых, человекоподобных существ были закинута в смрад сотен тысяч гниющих трупов, где среди живых уже не было ни одного, кто сознавал свое положение. Это был город безумных, гигантский дом сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам, какой когда-либо видела земля. И эти сумасшедшие истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от безумия, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в зараженном воздухе.

Само собой разумеется, что правительство Республики не оставалось равнодушным зрителем жестокого бедствия, постигшего столицу. Но очень скоро пришлось отказаться от всякой надежды оказать помощь. Врачи, сестры милосердия, военные части, служащие всякого рода решительно отказывались ехать в Звездный город. После прекращения рейсов электрических дорог и управляемых аэростатов прямая связь с городом утратилась, так как суровость местного климата не позволяет иных путей сообщения. К тому же все внимание правительства скоро обратилось на случаи заболевания «противоречием», которые стали обнаруживаться в других городах Республики. В некоторых из них болезнь тоже грозила принять эпидемический характер, и начиналась общественная паника, напоминая события в Звездном городе. Это повело к эмиграции жителей из всех населенных пунктов Республики. Работы на всех заводах были остановлены, и вся промышленная жизнь страны замерла. Однако благодаря решительным мерам, принятым вовремя, в других городах эпидемию удалось остановить, и нигде она не достигла до тех размеров, как в сто лице.

Известно, с каким тревожным вниманием весь мир следил за несчастьями молодой Республики. Вначале, когда никто не ожидал, до каких невероятных размеров разрастется бедствие, господствующим чувством было любопытство. Выдающиеся газеты всех стран (в том числе и наш «Северо-Европейский Вечерний Вестник») отправили специальных корреспондентов в Звездный город – сообщать о ходе эпидемии. Многие из этих храбрых рыцарей пера сделали жертвой своего профессионального долга. Когда же стали приходить вести угрожающего характера, правительства различных государств и частные общества предложили свои услуги правительству Республики. Одни отправили свои войска, другие сформировали кадры врачей, третьи несли денежные пожертвования, но события шли с такой стремительностью, что большая часть этих начинаний не могла быть исполнена. После прекращения железнодорожного сообщения со Звездным городом единственными сведениями о жизни в нем были телеграммы Начальника. Эти телеграммы немедленно рассылались во все концы земли и расходились в миллионах экземпляров. После поломки электрических машин телеграф действовал еще несколько дней, так как на станции

были заряженные аккумуляторы. Точная причина, почему телеграфное сообщение совершенно прекратилось, неизвестна: может быть, были испорчены аппараты. Последняя телеграмма Ораса Дивили помечена 27 июня. С этого дня в течение почти полутора месяцев все человечество оставалось без вестей из столицы Республики.

В течение июля было сделано несколько попыток достигнуть до Звездного города по воздуху. В Республику было доставлено несколько новых аэростатов и летательных машин. Однако долгое время все попытки преследовала неудача. Наконец, аэронавту Томасу Билли посчастливилось долететь до несчастного города. Он подобрал на крыше города двух человек, давно лишенных рассудка и полумертвых от стужи и голода. Через вентиляторы Билли видел, что улицы погружены в абсолютный мрак, и слышал дикие крики, показывавшие, что в городе есть еще живые существа. В самый город Билли не решился спуститься. В конце августа удалось восстановить одну линию электрической железной дороги до станции Лиссис, в ста пяти километрах от города. Отряд хорошо вооруженных людей, снабженных припасами и средствами для оказания первой помощи, вошел в город через Северо-Западные ворота. Этот отряд, однако, не мог проникнуть дальше первых кварталов вследствие страшного смрада, стоявшего в воздухе. Пришлось подвигаться шаг за шагом, очищая улицы от трупов, оздоравливая воздух искусственными средствами. Все люди, которых встречали в городе живыми, были невменяемы. Они походили на диких животных по своей свирепости, и их приходилось захватывать силой. Наконец, к середине сентября удалось организовать правильное сообщение со Звездным городом и начать систематическое восстановление его.

В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются не занятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до 10 000 человек, но большая часть их является людьми неизлечимо расстроеными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы газеты, выходивших в городе до конца июля. Последний из найденных до сих пор, помеченный 22 июля,

содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно неменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке иступления, и наконец, – полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитэна, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах: везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3 000 000 жителей, живет около 30 000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г. Андрю Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить своих читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.

Александр Павлович Иванов

Стереоскоп

(Сумеречный рассказ)

Я разломал свой стереоскоп. В нем были не простые оптические стекла; в нем были как бы двери в некий мир, недоступный для нас; и вот я наглухо завалил таинственный вход. Он был чьим-то великим изобретением, но чьим, я не знаю и никогда не буду знать. Мне отворены были двери в те области, куда человеку недозволено проникать, куда он может лишь заглядывать; для меня исчезла непереступаемая грань между тем миром и нашим. Но в ту памятную ночь в порыве ужаса я разбил молотком линзы стереоскопа, чтобы положить вновь меж собой и его страшным миром прежнюю грань.

Заметил ли ты, что фотографические снимки обладают странными чарами? Они все, простые и двойные для стереоскопа (эти бывают на бумаге и прозрачные на стекле), загадочно влекут к себе; и тем сильнее, чем старше фотография. Глядит с них какой-то мир, особый, в себе замкнутый; он безмолвен, мертв, застыл и недвижим; в нем нет живых красок; царит лишь один бурый унылый цвет и его оттенки, словно все выцвело. Это – призрачный мир прошлого, царство теней минувшего. То, что ты видишь на бледном снимке, было когда-то одно только мгновение и в нашем живом мире. Потом наш мир изжил это мгновение безвозвратно. И вот остался этот двойник его, затаившийся в маленькой бумажной или стеклянной пластинке, застывший, умолкший и выцветший. На тебя смотрят со старых фотографий призрачные двойники того, что минуло навсегда, и от них веют таинственная грусть и тихая жуткость. И чем старше фотография, тем глубже ее чары.

Так, рассматривая старые снимки, заглядываем мы в их тайный мир. И мы только заглядываем туда, но никому невозможно туда проникнуть. Так я думал прежде, но теперь, когда я смотрю на обломки стереоскопа, лежащие здесь на столе, я знаю, что это возможно. И вместе с тем знаю я, что человек не должен проникать туда, хоть и может. Не следует живому тревожить тот мертвый мир

застывшего своим вторжением в его недра: тогда в тех недрах нарушаются таинственные равновесия, тревожится их священный и старый покой; и дерзкий пришелец платится тогда за вторжение тяжким ужасом. Лишь в порыве такого ужаса, лишь спасаясь от него, я и разбил в ту ночь свой стереоскоп.

Он попал мне в руки так неожиданно и служил так недолго. Раз я шел по Г-й улице. Был сильный мороз, утро встало все в белом; было седое небо и бледно-голубой воздух. Бесчисленные и белые зимние дымы подымались из труб и стремились стоять прямо, но режущий восточный ветер опрокидывал их, разрывал на куски, и весь город грозно курился. Дойдя до Аукционного Склада, я остановился перед его большими окнами, это делал я не раз и раньше. Здесь на низких и широких подоконниках было наставлено множество разных предметов вплотную и без всякого порядка. На иных виднелись билетки с какими-то цифрами, должно быть их ценой, на других их не было; но, видно, все это давно уже залежалось и было выставлено для продажи.

Мне нравилось смотреть на этот хлам, на эти груды утвари по большей части старомодной, давно вышедшей из употребления. Это были все старые вещи, попавшие теперь в Склад, но когда-то кому-то принадлежавшие; жизнь минувших людей, когда-то окружавшая их, словно впиталась в них и веяла на меня теперь тихим и грустным дуновением. В больших раковинах, которые можно видеть на письменных столах в качестве пресс-папье или украшений, вечно живет, затаившись в их глубине, минувший шум родного моря, где они лежали некогда. Также миновала давно и та жизнь, на дне которой долго пребывали когда-то эти старые вещи, и вот здесь на окнах Склада от них исходил тихий шелест и шорох прошедшего. Странной формы подсвечники, старинные лампы, чернильницы, поношенные бинокли и зрительные трубы; даже остов огромного морского рака в стеклянном футляре, причудливый, побелевший от времени и никому не нужный... Все это видел я уже не в первый раз в этих широких окнах; но теперь я заметил один предмет, не попадавшийся до этого на мои глаза: то был небольшой ящик из полированного дерева с двумя возвышениями в виде четырехгранных призм. Я присмотрелся: он оказался стереоскопом; в призматических трубках большие

выпуклые линзы странно отражали свет. Тут мне пришло в голову, что я давно уже хотел завести себе стереоскоп.

Рассматривать фотографии в стереоскопе, не простая ли это детская забава? Но вникни: в этом кроется странное волшебство, и душа радостно отдается его чарам. Вот – снимок; в нем мир застывших призраков; ты вставляешь его в стереоскоп, смотришь, и вот мир этот стал словно ближе к тебе. Плоский снимок – углубился, получил таинственную перспективу; ты уже не просто заглядываешь, ты словно проникаешь в глубины мира призраков; ты еще не проник, но уже есть намек на это проникновение, уже сделан первый шаг его. И чувствуешь, как выросли, как усилились загадочные жуть и грусть, веющие от снимка: они стали тебе словно ближе. Впечатление, когда я в первый раз заглянул в линзы стереоскопа, не изгладится во мне до смерти. Это было очень давно, в детстве, знакомый отца принес нам его. «Придержи рукою, – сказал он мне, – и смотри сюда», я заглянул, и мне открылась одна из областей того странного, не нашего мира. То было (как я узнал потом) изображение так называемых Ибсамбульских Колоссов. Гигантские фигуры Рамзеса, высеченные в скале, высились предо мною буроватыми призраками, углубленно и выпукло выделялись в воздухе; и воздух был такой же безжизненный и фотографический, как и они сами. Мертвенный двойник араба, когда-то жившего на земле, сидел на огромной руке Колосса. Перспектива, трехмерность этой недоступной области безотчетно и мгновенно поразила воображение: хотелось самому взобраться на исполина, ходить по его каменным и призрачным коленям, проникнуть в углубления, скрытые от глаз выступами гигантских рук, обойти сзади сидящего араба. И как все было там безмолвно, как чудовищно неподвижно! Фигура когда-то живого араба была так же навеки неизменна, как каменные лица Фараона с заостренной, выдавшейся вперед бородой. И как грустно все было там и как жутко! Потом пред нами проходили одна за другой все новые картины: статуя Мемнона, виды Рима, гробница Наполеона, площадь в Париже... И все шире открывался пред нами, детьми, волшебный мир стереоскопа. Он был нов для нас и вместе с тем словно знаком, потому что странно напоминал наши детские сны. И весь день мы не переставали думать о нем и вечером в своей детской вспоминали и делились

впечатлениями, при этом мы говорили тихим голосом, ибо грусть и жуть тех таинственных стран уже неизгладимо залегли в наши души.

Я смотрел со старым волнением на небольшой прибор, затерявшийся в грудах аукционного хлама. Он был старинной конструкции, и мне казалось, был похож на тот первый, виденный в детстве. Я раздумывал, что можно будет купить, если недорого: ноги стыли на морозе и побуждали к решимости. Я отворил дверь и вошел; там было обширное помещение, сплошь заставленное вешалками с шубами и другим заложенным платьем; в углах была наставлена старая утварь, как на окнах; по стенам висели картины и портреты. За прилавком сидело два человека; один из них вопросительно поднялся мне навстречу. «У вас выставлен стереоскоп, — начал я, — ведь продается? Вот здесь». Человек подошел к окну и достал его с подоконника. Он глядел на билетик, наклепленный на стенке стереоскопа: «два рубля», сказал он и подал его мне.

Прибор показался мне неожиданно тяжелым; было впечатление, точно внутри его было что-то постороннее. Линзы тоже обращали внимание: большие, необыкновенно выпуклые, странно отражавшие свет. Я поворачивал его во все стороны; по всему видно было, что он уже старый и подержанный; полированное дерево было сильно поцарапано и кое-где глянец даже совсем сошел. Потом одна особенность бросилась в глаза, ящик был глухой: не было обычных щелей, куда вставляют снимки; задняя стенка была из матового стекла, но никаких признаков отверстий около не было, и дерево всюду было плотно пригнано. Я сказал об этом продавцу, он повертел стереоскоп в руках, даже постучал пальцем по стенкам, но объяснить ничего не мог. Он поднес затем прибор к своим глазам и объявил, что внутри уже вставлен снимок. Я заглянул в свою очередь и увидел изображение одного из залов Эрмитажа; я сразу же узнал зал Зевса Олимпийца. Давно знакомое волшебство повеяло в душу; и оно было особенно сильно: удивительно была полна и углублена перспектива в этом старом стереоскопе; по-видимому, линзы были высоко совершенны и расположены мастерски. Я понял, что прозрачный снимок был наглухо вделан в ящик и плотно прилегал к задней стенке, хотя снаружи через матовое стекло его не было видно. Странен и нелеп показался мне этот каприз неизвестного оптика предназначить весь прибор только для одного снимка. Это останавливало меня; я

снова высказал это продавцу, но он не был любезен и намекнул, что не очень озабочен, куплю ли я или не куплю. Я подумал, что заднюю стенку можно как-нибудь и переделать в случае нужды; вынул деньги, и покупка состоялась.

Я вернулся домой уже поздно вечером. На стенных часах у соседа (он нанимал комнату рядом, у моей квартирной хозяйки) пробило десять, когда я зажигал лампу на письменном столе. Некоторое время я сидел в кресле, отдыхая и рассеянно прислушиваясь к звукам, доносившимся невнятно с конца коридора из кухни, где старая Марья перед сном перемывала посуду. Потом встал и развернул свою покупку, еще холодную с мороза. И опять показалось мне, что стереоскоп смутно напоминает тот первый, виденный в далеком детстве. Я поднес его к лампе и заглянул через линзы в зал мертвого Эрмитажа. Снимок был сделан должно быть уже очень давно; это я заключил по некоторым признакам, которые трудно передать; но тут был виден особый способ фотографирования, какой теперь не употребляется. Потом мне почудилась в верхнем правом углу снимка будто какая-то дата. Стереоскоп был тяжел, руки, держа его, дрожали; тогда я положил один на другой три толстых словаря, поставил его сверху на них, направил против света лампы, а сам сел за стол, и, удобно облокотясь, приблизил глаза к линзам. Цифры даты стали виднее, но все же были неясны; я напряг зрение, и, мне показалось, там стоит: «21 апреля 1877» или «1879». Неужели это отмечен день, когда был сделан этот поблекший снимок? Ведь и по виду своему он уже сделан давно; быть может тогда же, когда и сам стереоскоп. «Неужели так давно?» – спрашивал я радостно.

Потом совершился тот невероятный переход в тайные области стереоскопа. Я сидел, опираясь локтями на стол, и глядел в линзы. Пред глазами моими лежал хорошо знакомый зал Эрмитажа, но вместе с тем немного чужой и страшный, какими порой являются в снах знакомые нам покои и помещения; двойник этого зала несколько уменьшенный и фотографического цвета. Росло старое волнение, и старое волшебство все больше овладевало мною; хотелось пройтись по этому мертвому залу, бродить между статуй и саркофагов; хотелось проникнуть в соседний зал, что тихо пядел в высокую дверь. Вдруг почудилось, будто слабый запах керосина от моей лампы исчезает и сменяется каким-то другим, уже где-то мною слышанным; скоро я

догадался, что он напоминает особый запах, присущий нижним залам Эрмитажа. Я все смотрел, не отрываясь. Призрачные очертания зала и всех предметов в нем стали расти; зал словно приближался ко мне, принимал меня в себя, обступал меня своими стенами сзади, справа, слева; мне казалось уже: я могу их увидеть, стоит мне повернуть голову. И вот этот зал минувшего Эрмитажа сравнялся в размерах с залом Эрмитажа настоящего. Внезапно я осознал, что не сижу уж, а стою на полу, локти не опираются более на стол, и я свободно опустил руки. Наконец исчезло всякое сомнение в свершившемся волшебстве, я стоял внутри призрачного зала, который доселе видал лишь чрез линзы издали. Исчезла моя комната, стол, лампа. Исчез и сам стереоскоп: я находился внутри его.

Была мертвая тишина; были слышны лишь взволнованные удары моего сердца, да тиканье часов в кармане жилета. Я сделал несколько шагов вперед, и странный звенящий звук родился у меня под ногами и умер, отозвавшись где-то в углу у потолка; этот звук был мне знаком: так звучат под шагами каменные плиты, которыми выложен пол нижних залов Эрмитажа; только здесь он был тусклый, как сами стены и все в этом мире выцветших призраков. Я взглянул направо: из окон, помещающихся высоко у самого потолка, лился в зал мертвенный свет; виднелись чрез них двор, крыши и бесцветное фотографическое небо; в то мгновение, что застыло здесь, была ясная солнечная погода. Я взглянул налево; статуя Зевса знакомо высилась с орлом у ног. Я был недавно в зале Олимпийца, в настоящем зале, и вспомнил теперь внезапно, что вот за тем выступом стены должен стоять бюст во фригийской шапке. Я прошел немного вперед, будя тускло шепчущее эхо, и заглянул за выступ: бюст стоял там, стоял минувший его двойник. Я дотронулся рукой до него, он был холоден и тверд: призрак прошлого был телесен. В душе росла тихая жуть. С неизъяснимым чувством двигался я посреди урн, статуй и саркофагов; все знакомо и вместе чуждо.

Вдруг я вздрогнул, почувствовав, что я не один. Углом глаза я уловил темную человеческую фигуру, стоявшую позади меня, и это была не статуя. Я быстро обернулся: какой-то человек в темном сюртуке стоял неподвижно, устремив взор на стену и странно откинув руку, рядом с ним стоял какой-то высокий предмет, то был фотографический аппарат на треножнике. Я замер в немом ужасе.

Прошло несколько секунд; он не шевельнулся, не качнулся, не сделал ни одного жеста; он стоял так же безмолвно и недвижно, все в такой же странной позе, с тем же выражением лица. Тогда-то я рассмотрел, что он был лишь призрак, поблекший и застывший, как и все вокруг него. Подавляя жуть, я подошел к нему и заглянул в лицо; минувшие черты его были неподвижны; проходили секунды, минуты, одна за другой, а глаза и губы его хранили все ту же мертвую неизменность. Взгляд мой упал на аппарат на треножнике, и я увидел теперь, что он о двух объективах. «Стереоскопическая камера», – подумал я. И мгновенно меня осенило: ведь это тот самый человек, что изготовил снимок с Зевсовой залы, ведь это его печальный двойник! Вот он стоит молча, выцветший, но все же телесный, призрак и снимает своим аппаратом этот минувший зал; уже 28 лет он снимает его, не шелохнувшись, и вечно будет снимать! Все, что в тот далекий миг было вокруг фотографа, и он сам, таинственно повторилось на тонкой стеклянной пластинке и стало миром, затаенным в глубинах стереоскопа. Мне хотелось прикоснуться к этой тихой фигуре, но почему-то я не решился. Я обошел ее и направился в смежную комнату. Там был почти сумрак; смутно различил я и опознал знакомые статуи, сидящие здесь. Большое окно в глубине бедно пропускало свет буроватого оттенка, и чрез него, как сновидение, глядела стена Зимнего Дворца. Новая человеческая фигура неясно рисовалась у окна; проходя, мельком видел я, что это был двойник капельдинера, стоявший неподвижно, повернувшись спиной ко мне. Мутный свет из окна странно отражался на ее лысой голове.

Так началось мое хождение по этим безжизненным покоям стереоскопного мира, по невозвратным залам Эрмитажа, давно уплывшего в минувшее, как умершее и застывшее мгновение. Из залы переходил я в залу, и тусклое эхо вторило моим шагам в углах и у потолка, замирало сзади меня каждый раз, как я приближался к дверям в новую комнату, и зарождалось вновь впереди. И всюду был разлит знакомый характерный запах нижнего Эрмитажа. На пути попадались здесь и там немые и неподвижные фигуры людей, похожие на вылинявшие восковые куклы, то были прошедшие посетители и сторожа этих невозвратных зал. Они хранили неизменно каждый свою позу, вперив стеклянные глаза в одну вечную точку. Порой я ловил эти взоры на себе или встречал их в упор; тогда я

вздрагивал. Они стояли, и мертвенный свет лился на них. От них струился мне в душу таинственный страх и грусть.

Скоро, однако, я освоился с этим страхом и научился подавлять его. Я стал привыкать к безжизненным образам двойников, и проходя мимо них принуждал себя не уклоняться в сторону, а спокойно заглядывать в их лица. До одного из них я даже решился дотронуться; то был высокий пожилой человек в одежде покроя, какого теперь уже не носят; он стоял перед шкафом с древним оружием и утварью, держал в руке маленькую книжку и смотрел в нее. Пальцы мои скользнули по шероховатому сукну воротника и коснулись шеи призрака. Кожа не была холодной как у мертвеца, в ней хранилась какая-то странная тепловатость; это была как бы выцветшая теплота живого тела... Я отдернул руку. Книжка, которую он держал, был каталог «Древностей Босфора», старое издание; я осторожно перевернул один лист и услышал слабый шелест минувшей бумаги. Перед другой фигурой я вздрогнул, почуяв в ней что-то знакомое. В этой узкой, с гулким деревянным полом зале Босфора, но настоящей, видывал я прежде старика-капельдинера и разговаривал с ним иногда; он исчез несколько лет назад, должно быть умер. И вот теперь в унылом полумраке прошлой залы Босфора узнал я в поблекшей фигуре старого знакомца. Только двойник, сидевший предо мной, был гораздо моложе; он не был еще седым стариком; таким я встретил его впервые, когда давно в детстве отец в первый раз повел меня в Эрмитаж, и мы вошли с ним в узкий зал, где хранятся древности скифов. Я отошел в глубоком удивлении.

Так бродил я в этой недоступной области. Порой я останавливался, шаги мои стихали, и тогда безмолвие этих странных залов было невыразимо глубоко и мертвенно; его нельзя было сравнить ни с каким другим безмолвием. И как тенисты, таинственны, жутки и грустны были эти невозвратные покои. В залах нижнего Эрмитажа никогда не бывает особенно светло даже в ярко солнечные дни; а тусклое сияние небес стереоскопного мира разливало по буроватым залам лишь смутный загадочный сумрак, который особенно сгущался в отдаленных углах и закоулках. И порою, повинувшись влечению, порождаемому в нас всем неизвестным и страшным, я нарочно направлялся к этим темным местам, чтобы опознать их и припомнить. Там я смутно различал тогда знакомую

вазу на подставке или шкаф с танагрйскими статуэтками; там иногда встречал я и немые неподвижные человеческие фигуры, непобедимо жуткие в глубоком сумраке уединенных закоулков. Теперь я уж совсем овладел своим страхом, хоть он и таился в сердце; неизведанное упоение пронизывало меня все сильнее; и я думал о том, как все это невыразимо, ненасытимо странно.

Так я достиг вестибюля – открылась огромная лестница, ведущая в верхние залы, и стало светлее. Те же куклообразные, давно минувшие люди стояли у вешалок. Мельком увидел я коричневое лицо швейцара, державшего пальто, и стеклянные глаза того, кому он помогал недвижно его надеть, на мгновенье вперившиеся в меня, когда я проходил мимо. Я стал медленно подниматься по отлогим ступеням. Припоминался тот день, когда я с отцом давно-давно всходил в первый раз по мраморной лестнице Эрмитажа; переживалась вновь растерянность перед бесконечным рядом ступеней и странное затруднение в ногах. И теперь, стоя в недрах мига, застывшего 30 лет назад, и глядя на выцветший призрак лестницы, я думал: «Быть может лишь вчера прошел я, мальчик, с отцом по лестнице впервые? или, может быть, пройду по ней впервые еще сегодня через полчаса?» Потом я спрашивал себя: не сплю ли я? не во сне ли вижу эту невероятную область стереоскопа? Я проводил рукой по пландековой стене и ясно ощущал ее твердость и гладкость; я несколько раз щипал себя за щеку и дергал за волосы, думая, вот-вот проснусь, но не просыпался.

В залах верхнего этажа было светлее, но все же свет, проникавший сквозь окна и стеклянные потолки, был призрачен и печален. Паркетный пол рождал отзвуки шагов более гулкие и протяжные, чем каменные плиты там, внизу. Призраки знакомых залов открывались мне один за другим; ряды картин, знакомых, но лишенных живых их красок, глядели на меня со стен. Заметно больше, чем внизу, было здесь покойных посетителей; повсюду были их целые толпы. Казалось, я присутствую на мертвенном собрании восковых фигур в человеческий рост. Они стояли, вперяя в картины свои стеклянные взоры, некоторые, слегка закинув голову назад. Иные смотрели в каталоги; другие беззвучно разговаривали друг с другом, навсегда приоткрыв свои рты; и лица их от этого были странны и порой безобразны. Иные сидели в креслах и на диванах. Какой-то

старик, казалось, пытался объяснить что-то двум дамам (некто минувший таким же, как и он, минувшим!), и вечная поза его была причудлива: он как-то присел, склонившись слегка набок и разведя руки, и неизменное лицо было жутко и вместе смешно. Я был один живой среди них, выцветших, призракам сподобных! Я пришел одинокий в их невозвратное обиталище! Но страх словно совсем исчез в моей душе; старое волшебство овладело ею всецело. Сбылись старые предчувствия странного упоения.

И неожиданно пришло мне в голову нарушить безмолвие прошлых залов; я крикнул громко и протяжно: «А-а-а-а-а!» Как описать впечатление от этого крика? Он быстро отрезвил меня от моего упоения и снова вселил в сердце щемящую жуткость. Звук ударился в стену и пробежал по карнизу, поблекший и пугающий. «А-а-а!» – отозвалось в соседнем зале. «А-а!» «а-а!» – отзывалось все дальше в призрачных обширных покоях. И чудилось, что отзвук обошел все мертвые залы наверху, спустился вниз в сумрачные покои нижнего этажа и смутно разгуливал и там. И наверху и внизу ему внимали, не шелохнувшись, одни лишь безответные двойники. И когда замер и затерялся последний отзвук, в призрачные залы вернулось их безмолвие, невыразимо глубокое и вечное. Больше я уже не кричал.

Страх попритих, и я опять бродил из залы в залу, будя в их тишине бесцветное эхо шагов. Потом я вновь очутился перед лестницей, уходящей бесчисленными ступенями вниз в буроватые сумерки вестибюля. У вешалок снова увидел я двойника, что застыло наклонился вперед и ловил руками, откинутыми назад, пальто, неизменно ему подаваемое; и снова на мгновение мне пересек дорогу его упорный взор. Вновь охватили меня полусумрак и прохлада нижнего Эрмитажа.

Вот плянул мне навстречу Египетский зал, глубоко знакомый и вместе чуждый в своей здешней призрачности. Он и настоящий беден живыми красками и светом; здесь же обступил он меня выцветший до конца, буроватый, тонуший в мертвенной мгле. Он был без конца безмолвен; был страшен и влекущ. В таинственном сумраке прислонялись к стенам ассирийские барельефы; из стеклянных футляров глядели исполины, запеленутые, с грозно-веселыми и загадочными лицами; мрачными рядами стояли саркофаги; высился

темный облик Сехт со львиной головой. Нигде странный сумрак стереоскопного мира не был так сгущен и так уныл, как здесь; особенно глубокие тени залегли между выступами той стены, где наверху у потолка прорублены квадратные окна с крылатыми фигурами. Страшное веяло из этих темных углублений, где глаза мои, еще не отвыкнув от более яркого света верхних зал, сперва даже не могли ничего различить. Я простоял неподвижно несколько минут, слушая мертвую тишину давно прошедшего. В голове бродила смутная мысль: «быть может, всего за полчаса в эту залу вошел в первый раз в жизни мальчик с отцом и впервые пахнули ему в душу от темных каменных саркофагов и расписанных деревянных гробов загадочные чары Древнего Египта?»

Потом я подошел к одной из круглых витрин и заглянул в нее. Там лежали амулеты, священные скарабеи, большие и малые; темные и светлые всех оттенков унылого бурого цвета. Я глядел на них, и внезапно пришло в голову достать из витрины которого-нибудь из них. Эта мысль страшила, но была соблазнительна. Машинально, не думая, что делаю, я надавливал пальцами на стекло; вдруг неожиданно оно странно хрустнуло и кусок его упал внутрь витрины. Жалобный звенящий звук пронесся по залу. Отверстие в стекле было еще мало, и я стал вынимать другой кусок. Я стоял наклонившись, но углом глаза неясно ощущал темное углубление налево от себя, лежавшее между двумя выступами стены. Скоро рука проникла в витрину и один из скарабеев был вынут; дивясь, ощущал я холодную твердость прозрачного камня.

Вдруг внезапный страх проник в меня: я почувствовал на себе неподвижный тяжелый взор; он глядел из сумрака того углубления, которое я ощущал сбоку от себя налево. Я быстро поглядел туда. Там в углу за небольшим белым изваянием безмолвно стояла низенькая темная фигура, смутно вырисовываясь в сумраке. Она упорно смотрела на меня должно быть с самого того мгновения, когда я подошел к витрине. И вот, когда я, не поднимая еще головы, лишь повернул ее в сторону, глаза мои встретились с ее упорно вперенными глазами, слабо отражавшими свет. Я выпрямился, отшатнулся назад и уклонился от мертвого взгляда. Не раз и раньше ловил я на себе застылые взоры обитателей этого мира; но эти глаза были особенно, непобедимо страшны. В них почудились мне укор и угроза; мне

казалось, что я застигнут на месте преступления. И я понял вдруг, что свершил таинственное святотатство, ограбив витрину с темными двойниками скарабеев. С амулетом в руке, подавляя нарастающий страх, я стал приближаться к призраку. Я рассмотрел, что это была дряхлая старуха, низенького роста, сгорбленная, в темном старинном салопе, со странной шляпой на голове; подавшись вперед, она опиралась на свой зонтик и вперяла тяжелый взор в одну вечную точку. Смутные впечатления и мысли пытались в моей голове облечься в слова: «почти 30 лет назад какая-то причудливая старуха, Бог весть зачем, забрела в Эрмитаж и бродила по нижним залам; и, зайдя в Египетский зал, остановилась в уголке и смотрела оттуда прямо перед собою слегка поверх витрины со скарабеем, бессмысленно и таинственно, старыми глазами. И вот с тех пор застывший двойник ее в недостижимых областях стереоскопа вечно охраняет стеклянным взором темные амулеты и с ними глубокие тайны этих областей. А я пришел и дерзкой кражей посягнул на эти тайны»... Так говорил я себе о старухе.

Я подошел к ней сбоку, избегая мертвой вперенности ее глаз; обошел ее сзади. Я принудил себя дотронуться до ее салопы, приподнял край его, опустил и смотрел, как он слабо раскачивался и шевелился, пока снова не замер неподвижно. Она походила на безобразную и страшную фантошу. Теперь я мог рассмотреть ее довольно хорошо; сухая костлявая рука судорожно сжимала ручку зонтика, виднелась щека призрака, покрытая морщинами; жидкие волосы его начинались над ухом и уходили под старомодную шляпу; и эти коричневатые тоны лица! Я хотел уже отойти, но странное побуждение влекло меня еще раз заглянуть ей в глаза. Я нагнулся и заглянул решительно. И вот то, что издали пугало меня, я увидел близко, в полуаршине от собственного лица! На мгновение предстали передо мною все застывшие подробности этих глаз, и я отшатнулся с дрожью ужаса. Затем произошло нечто, показавшееся безобразно-страшным. Фантоша качнулась, стала склоняться на бок медленно, потом быстрее и быстрее, и наконец рухнула на пол мягко, почти беззвучно; зонтик выпал из ее рук и с бледным звуком ударился о плиты пола. Я отскочил с воплем ужаса на несколько шагов и замер, смотря на двойника; он лежал недвижной темной кучей, а по потолку залы бежало эхо моего крика, смутно умирая среди безмолвия

призрачных зал. Еще несколько мгновений стоял я так, потом повернулся, бросился прочь и выбежал в вестибюль.

Я бежал долго; наконец остановился с холодным потом на лбу и неистово колотящимся сердцем. Я старался прийти в себя; уяснить себе сущность происшедшего. Почему она опрокинулась? задел ли я ее незаметно для себя? или дрогнула под моими ногами какая-нибудь из плит в полу? И казалось и непобедимо верилось: старуха сторожила выцветший зал Египта; и падением ее потревожены страшные тайны призрачной залы и всего невозвратного мира. Таинственный ужас, который я доселе покорял в сердце, теперь вырвался на волю и завладел им. И в первый раз пришло мне в голову: «как вернуться мне назад, как вырваться отсюда?»

И только тут я понял, что меня ждет отчаяние. Я был одиноким живым, затерявшимся в этих мертвенных областях, отрезанных непреступаемою гранью от мира жизни и настоящего. Я не знал, каким путем я проник сюда; как же мог я найти путь отсюда? И если мне и удастся наконец отыскать выход, то сколько времени пройдет до этого? Что если до тех пор со стереоскопом, что стоит на столе моем под лампой, случится что-нибудь? Не обречен ли я остаться навсегда в тусклой стране, где обитают лишь вечно неизменные двойники минувших, где в сумрачной зале недвижно лежит навзничь безмолвный призрак со страшными глазами? Я весь покрылся холодным потом; сердце ныло от ужаса и смятения.

Тогда я решил не дать им овладеть мною до конца. Я попытался обсудить все хладнокровно, обдумать, что мне делать. Я увидел, оглядевшись, что стою недалеко от больших шкапов с книгами; неясно и знакомо высится в десяти шагах от меня огромная голова на высоком постаменте, а впереди, сзади и налево уходят вдаль выцветшие пространства обширных покоев. Я встал в темный угол между стеной и шкапом и прижался спиной к стене, чтобы ни один из молчаливых обитателей зала не находился сзади меня. Там стоял я неподвижно, сам словно чей-то тихий двойник, и старался собрать мысли. Но долго это не удавалось; только глаза мои бесцельно и полусознательно изучали сеть жилок на мраморе минувшей стены в полуаршине от меня, а в голове назойливо и бессмысленно бились какие-то стихи, Бог весть почему всплывшие в памяти: «и будто стоном в темной бездне отозвалось и умерло, отозвалось и умерло»... Потом сердце

стало стучать спокойнее, и мысли несколько прояснились. И тогда внезапно и как бы сам собою явился ответ на страшный вопрос. Я понял, что у меня всего один путь, где я могу попытаться счастье: нужно найти то место на полу, откуда сделал я первый шаг в своем странствовании по недрам стереоскопа; встать и ждать; что могу я сделать больше? Быть может, то же самое чудо, что бросило меня сюда, унесет меня снова отсюда в жизнь и настоящее. Я вышел из своего убежища и направился к Зевсовому залу. Я шел осторожно, стараясь не будить шагами эхо, не останавливаясь, не вглядываясь в редкие фигуры, сторожившие в сумраке. Один зал, потом другой; вот капельдинер, старый знакомец; вот высокий двойник с каталогом в руке. Длинный ряд призрачных залов свернул налево, показался вдали зал Олимпийца, посреди него уже вырисовывалась неподвижная фигура фотографа. Вот небольшая полутемная комната; лысый человек по-прежнему стоит, повернувшись к окну, и свет смутно отражается на голой голове его. Вот наконец и зал Зевса.

Я подошел к фотографу и вплотную придвинулся к его аппарату; трубки объективов были всего на вершок от моего лица; они пришлись как раз на высоте глаз. Потом, не сходя с места, я повернулся кругом и осторожно затылком прикоснулся к трубкам; так я замер, лишь медленно и слегка поворачивая голову то вправо, то влево. Наконец, показалось мне, что я отыскал. С этой точки, в этом повороте тридцать лет назад снял зал тот, чей призрак теперь тихо стоял позади меня. Я стоял на том самом месте, где ноги мои впервые стали на пол минувшего зала. Я ждал, но ничего не изменялось, и отчаяние снова стало мной овладевать. Но вот с радостным замиранием сердца я ощутил что-то, почувствовал, что освобождаюсь из недр зала; стены его уменьшились, словно отступая вдаль. Запах керосина проник снова в ноздри, и я снова услышал заглушенный бой часов за стеной у соседа. Потом явилось сознание, что я по-прежнему сижу у себя в комнате перед зажженной лампой, упираясь локтями в стол и бровями прикасаясь к призматическим трубкам стереоскопа; призрачный зал, видневшийся сквозь линзы, по-прежнему казался далеким и внешним.

Радость охватила меня; облегченно вздохнув, я встал и прошелся по комнате, едва решаясь верить своим чувствам. Я пытался о чем-то пораздумать, что-то сообразить, но голова была тяжела и кружилась,

мысли путались. Я завернул лампу; шатаюсь, подошел к постели и прилег, не раздеваясь. Незаметно для себя я заснул.

Сон был тяжелый, но без сновидений. Когда я проснулся, новый морозный день уже встал и проникал через щели у штор голубоватыми просветами. Я лежал некоторое время и потом вдруг вспомнил. Все происшедшее ночью показалось мне сном. «Вот странный сон, – подумал я, – точно в детстве! Должно быть, я заснул вчера перед стереоскопом». В ту же минуту я почувствовал тупую боль в боку, лучше сказать, обратил на нее внимание, потому что смутно она тревожила меня и раньше. В правом кармане оказался какой-то твердый предмет, и, лежа на боку, я придавливал его. Я приподнялся и вынул из кармана толстый диск дюйма в два в поперечнике, на ощупь каменный. Я бросился к окну, рванул вверх штору и взглянул на него при свете; происшедшее накануне не было сном! Я положил скарабея на стол, рассматривал его, не веря глазам, и говорил себе: он минувший! Он был такой же, как и там, когда я вынул его из витрины в таинственном зале; темно-коричневый, шероховатый на ощупь и довольно тяжелый. Он был еще тепел от пребывания в кармане и медленно остывал, как настоящий камень. Должно быть, бессознательно я сунул его в карман во время своего дикого бегства.

Потом взгляд мой упал на стереоскоп; он стоял на кипе книг в том положении, как я оставил его ночью. Я сел за стол и заглянул в выпуклые, странно блестящие линзы. Подобно сну, снящемуся во второй раз, глянули на меня оттуда темные стены, белый саркофаг в глубине, выступ, скрывающий голову во фригийской шапке; по-прежнему блеснул пол, по которому я ходил; смежные залы виднелись за дверью, где я разгуливал вчера, где лежит страшный двойник старухи. Вздвогнув, я отвел глаза от линз, словно боясь, что этот мертвый зал снова приблизится и поглотит меня в свои недра.

Дверь притворилась и заглянула Марья. «Уже встали? – сказала она. – Одежда ведь так и нечищена, и сапоги...» Она взглянула на стол и прибавила: «Что это вы зря жжете керосин? Вчера ушли из дому, а лампу оставили гореть. Я как пошла спать, вижу, что свет; дверь не затворена, заглянула, а вас нет, только лампа горит. Хотела я погасить, да вижу: что-то у вас на столе наставлено; думаю, еще забранит... Не стала трогать...». – «Ничего, Марья, – сказал я. – Я уходил ненадолго,

и хорошо, что вы ничего не тронули на столе. А платья, пожалуй, сегодня можно и не чистить». – «Ну ладно, коли не нужно. Девять уже било». И она ушла. Мне пришло в голову, что бы она подумала, если бы заглянула в стереоскоп вчера в мое отсутствие и вдруг увидела бы меня, выходящим из двери странного зала, таящегося за линзами? Или, если бы Марья в самом деле загасила вчера лампу на столе, что бы стало со мною? Черный мрак разлился бы тогда по покоям, где я блуждал; и я остался бы в нем одинокий, мечась в ужасе и отчаянии, натываясь во тьме на застывших двойников и опрокидывая их! От этой мысли у меня захолонуло сердце.

Я долго сидел за столом; припоминал пережитое ночью, и оно воскресало во мне со своими образами, с чувствами и смутными мыслями. Я думал о прошлом мире, что лишь вторит тусклыми отзвуками шагам и голосу пришельца, но сам вечно безмолвен; об этом прошлом мире, который подобен поблекшему призраку настоящей жизни, но вместе с тем загадочно телесен и осязаем. Я думал о его обитателях, и казалось мне: быть может, они не до конца мертвенны; они неподвижны, и неизменны лица их, но, быть может, в них таятся некие подобия чувств, такие же застывшие и выцветшие, как и они сами. Не от них ли льется великая и тихая грусть, которой так полон мир стереоскопа; которая веет от стен, от потолков, от всех предметов, от самого бледного неба в душу того, кто заглянул в линзы? Не грустят ли они, вечно и тайно, о том, что невозвратно минуло вместе с ними? Иль, может быть, в иных двойниках зарождается подобие мертвенной злобы, когда в их область заглядывают живые глаза из нашего мира. Ибо жутки и страшны области стереоскопных недр, особенно там, где гуще залег их сумрак. Не злоба ли минувших на то, что подсматривают за ними, что вторгаются к ним, наполняет жутью и стены, и потолок, и анфилады призрачных покоев; жутью и страхом, что струятся в сердце глядящего в линзы? Тогда вновь возник пугающий облик старухи.

И вдруг среди мыслей, вновь обращенных к ней, поразил меня один далекий, давно забытый образ, какое-то старое, старое воспоминание, уже много лет как затонувшее бесследно в душе; быть может, обрывок сна, виденного в глубоком детстве! Мне почудилось теперь, что мне когда-то в туманной давности уж встретился однажды иль снился причудливый старушечий образ; и еще туманнее, еще

смутнее вспоминалось при этом, что я встретил его в каком-то обширном и сумрачном помещении. И воображение взялось за свою ткань; оно пыталось восстановить бесследно исчезнувшие части этого обрывистого видения и установить иные таинственные связи. Оно подсказывало мне: почти тридцать лет назад мальчик с отцом стоял в зале Эрмитажа, тогда живого, и впервые в душу ему веяла величавая таинственность Древнего Египта; и вот тогда-то глаза его пророчески встретились с ветхими глазами какой-то старухи на одно мгновение. Они разошлись, и он никогда не видел ее больше, и жуткое воспоминание о ней хранилось в нем недолго. А она в тот день после их встречи еще долго бесцельно бродила по обширным анфиладам и опять зашла в сад Египта и была там в миг, застывший в стереоскопе. И вот двойник ее в поблекшем зале стал вечным хранителем тайны прошлых стран. Наконец я очнулся от своих размышлений и грез; стереоскоп стоял передо мной на столе; я смотрел на него со странным чувством, в котором страх сплетался со старым влечением. Я решил убрать его подальше; обернул в газету и спрятал в шкаф. Пора было идти в Правление. Я запер в стол скарабея, потом оделся и вышел из дому.

Весь день я был как в тумане, объятый впечатлением от ночного странствования. В Правлении я лишь празднично сидел, позабыв о бумагах, разложенных предо мной, погруженный в невероятные воспоминания. Мысль проникнуть туда во второй раз долго не приходила мне: еще в душе были вняты отголоски ночного страха. Но проходили часы, и старые влекущие чары того мира, не смолкавшие во мне, наконец подсказали мне эту мысль. И я говорил себе, что мне стыдно отдаваться всецело страху; что, познав его в первом странствовании, я могу во второй раз проникнуть за грань линз с большим спокойствием и властью над собою. Потом внезапно вспомнил я, что теперь мне уже известен путь назад оттуда; и я радостно взволновался – ведь мне уже не грозит опасность остаться навеки в печальных областях прошлого: исчезло это препятствие таинственным соблазнам стереоскопа. И спокойнее думалось о старухе. И вновь вызывал я из глубины памяти смутное видение, быть может сонное, о первой давней, давней с ней встрече; и дивился опять на иные тайные связи в судьбе человека. Время, обычно такое медлительное, быстро проходило в осмелевших мечтах. Я представлял

себе, что будет, если я решусь снова проникнуть туда... Я не останусь только в залах Эрмитажа; я достигну до входной двери, отворю ее и выйду и буду бродить по улицам прошлого... Тут пришла мысль, что и там на улицах холоднее, чем в залах; вспомнилась дата в углу снимка: «21 апреля», конец апреля... и я подумал, что надо взять с собой пальто и шляпу... Я оторвался от грез. За окнами угасал голубой морозный день; электрические лампы уже бросали свет на столы и стены, и потолок погружен был в тень от абажуров; среди табачного дыма ярко освещенные головы наклонились над столами, слышен был сдержанный говор и шелест бумаги. Мир жизни и настоящего дохнул на меня с особенной силой, и я спросил себя, не сошел ли я с ума и брежу небылицу? Но, вспомнив о скарабее, я надавил кулаком правый бок, и пробудившаяся слабая боль убедила меня, что он вправду был утром в моем кармане.

Так проходил день, и я не переставал думать обо всем этом и уходя из Правления, и в ресторане за обедом, и у приятеля, к которому зашел по делу. Наконец, когда вечером около девяти я вернулся домой, во мне уже было жуткое решение. Я зажег лампу, достал стереоскоп и поставил его на кипу книг, как накануне. Потом я опустил штору и запер дверь на ключ, чтобы Марья по усердию не наделала бы беды. Сев за стол, посмотрел довольно ли в лампе керосину; затем вспомнил, встал снова, достал пальто, кашне и шляпу и, одевшись, уж окончательно уселся за стол. Сердце замирало от смутной, ноющей жути, но я решительно приблизил глаза к линзам и стал смотреть.

Прошло около минуты, и вот вчерашнее повторилось: свершился волшебный переход чрез страшную грань. Я вновь стоял среди мертвого зала. Я обернулся и пристально рассматривал лицо недвижимого фотографа. Застылость искажала черты, но все ж оно казалось одухотворенным и значительным, а в безжизненных глазах его была печаль и глубина. Ему было на вид лет пятьдесят, и седина сильно выступала на висках. Не тот ли человек, чьим двойником остался здесь тихий фотограф, создал и стереоскоп? Не призрак ли того, кто нашел запретный путь в страны прошлого, стоит здесь предомной и грустит о минувшем? Так говорил я себе о нем.

Потом я направился к вестибюлю; и шел туда опять тем же путем, кругом через все нижние залы; ибо страшился пройти через зал Египта. И снова эхо шагов тускло звенело и умирало у карнизов;

снова печальный сумрак царил в обширных покоях, а обитатели стояли здесь и там, подобные восковым куклам; сторожили в темных закоулках; иные тайно злобились на меня; иные грустили о минувшем вместе с ними. И снова, когда я останавливался, воцарялась мертвая, ни с чем не сравнимая тишина. Так я достиг вестибюля. Я был уже у самой входной двери, но, повинувшись странному побуждению, приостановился; потом медленно и осторожно подошел ко входу в Египетский зал; переступил его порог шага на три с холодком на сердце и, остановившись здесь, оглянулся вокруг. Все было, как и вчера: лишь в том конце зала я рассмотрел теперь в полутьме двух призрачных посетителей, которых тогда не заметил. Я повернулся к витрине с зиявшим отверстием в продавленном стекле, поднялся на цыпочки и заглянул поверх нее в углубление за нею под окнами: там в мертвом сумраке виднелся темный предмет, похожий на кучу тряпья. Утолив жуткое любопытство, я поскорей вернулся обратно, подошел к входной двери и потянул ее; она мягко и бесшумно подалась; и вот я стоял на давно прошедшем крыльце с исполинскими кариатидами.

И я увидел перед собой улицу, уходящую налево, знакомую и вместе с тем чуждую и страшную, какими порой являются в сновидениях хорошо известные места. Направо расширялась огромная площадь с Колонной посреди, столько раз уже виданная, но также словно искаженная в сонной грезе. Все здесь было мертвых коричневатых тонов – и мостовая, и тротуары, и длинные ряды домов, и туманный Собор вдали, и тусклое небо наверху. Я спустился с крыльца; мостовая была суха, но кое-где стояли лужи, одни с застывшей рябью, другие гладкие, как зеркало; в этих четко отражались призраки домов. Воздух вокруг был недвижим: но было гораздо холоднее, чем в залах, и я не жалел, что я в пальто и шляпе. Навстречу попадались пешеходы, застывшие в странных позах на ходу; с одной ногой, выставленной вперед, так что носок торчал кверху, с другой – отставленной назад. Приглядываясь к ним, я понял, что сильный ветер непостижимо застыл в мертвенном затишьи воздуха; потому что пальто их неподвижно вздувались и развевались, и некоторые из них наклонялись вперед и придерживали свои шляпы. То был минувший ветер.

Я тихо брел по широкому и печальному пространству. Такою видели люди живую площадь тридцать лет назад; иное изменилось на

ней с тех пор. И таинственным казалось мне, что ни один глаз теперь не может видеть ее *такою* и что *такая* она без возврата минула. Фасад Дворца темный, умерший, тянулся предо мной и, кончаясь слева, свободно давал видеть далекие толпы прошедших зданий за рекою; так было когда-то прежде. И, дивясь, я думал, что вот отсюда, с живой площади, никто никогда уже не увидит этих зданий: высокая решетка нового сада пред дворцом скрывает их... Страшная тишина царила вокруг, ни звука не возникало, кроме слабого отголоска моих шагов, бесследно терявшегося в открытом просторе. Я взглянул вверх и увидел впервые в бесцветном небе призрак солнца, озаряющий этот чудовищный мир. Оно стояло еще довольно высоко, но было безмерно тусклее живого солнца: на него можно было смотреть, не щуря глаз. Печальным светом оно заливало этот странный умерший город. Мрачные тени лежали от зданий и Колонны; и так же недвижны, как и они, были тени одиноких пешеходов и редких экипажей с лошадьми, застывшими на бегу, и тихими седоками. Тускло и безжизненно блестела исполинская игла над знакомой белой башней; золото выцветло и умерло в ее сиянии. Лучи давно минувшего солнца слабо, но заметно грели.

Потом я вышел на большую широкую улицу, в которой узнал Невский прошедших времен. Она была наводнена немymi жителями выцветшего города. Одних я встречал, других нагонял, мужчин, детей, по одиночке, по двое и целыми толпами; по широкому тротуару они как бы шли, не двигаясь с места и не шевелясь; у многих застывшие позы были причудливы и порою нелепы. Одни, по-видимому, беспечно прогуливались, другие спешили вперед, и у этих на лицах стояла странная озабоченность. На противоположной стороне также тянулись они темной непрерывной вереницей. Их пролетки, коляски и кареты недвижно катились по мостовой по обоим направлениям. Был разгар движения; как будто минувшие обрадовались яркому сиянию своего призрачного солнца, высыпали на свой Невский и жутко и печально играли в жизнь; и мне чудилось, что все они что-то таят против меня и в тайне грустят о том, что прошло с ними без возврата.

Ряды домов уходили вдаль, виданные не раз, но чудовищные, словно в тяжелом сновидении. Я шел все вперед; порою смотрел вперед на огромную выцветшую перспективу, и, куда только мог достичь мой взор, всюду, все чернее и черней, по ней густели

нескончаемые толпы призраков. Издали они казались более похожими на живых, двигающихся людей; но, приближаясь, убеждался я, что все это лишь застывшие двойники людей, когда-то живших и двигавшихся. Вот далеко впереди виднеется группа призраков; они словно идут навстречу и лица обращены ко мне. Я ближе, ближе к ним; яснее видны лица, они недвижно глядят пред собою, и я уж чувствую на себе их мертвый упорный взор; другие обернулись друг к другу с застывшими улыбками. Вот поравнялись со мною, вижу близко и отчетливо их поблекшие черты, то причудливые, то страшные. Потом миную их; и следуют новые встречные, новые толпы, и все застыло и бескрасочно, и от всего веет в сердце великая грусть. Все молчат, как мертвецы; безмолвствуют там у храма с пасмурной колоннадой и здесь, против отдаленной громады Театра, выходя из подъездов, переходя через дорогу. Ни говора, ни шепота, ни смеха, ни шума экипажей, ни гула великого города; одна только вечная и страшная тишина, нарушаемая лишь быстро угасающими отзвуками моих шагов. Гулко бьется в сердце тихий таинственный страх, но оно владеет им... И думается о том, что иного, хранящегося здесь, уже никто никогда не увидит на живом Невском; и я пляжу, дивясь, на это платье исчезнувшего покроя на призраках, эти прежние магазины, эти забытые вывески...

Так шел я, одинокий, и лишь моя молчаливая тень на бесцветных камнях была мне спутником. Так шел все дальше из улицы в улицу одинокий живой человек, затонувший в недрах огромного мертвого города. И был затерян среди сотен тысяч его домов; и каждый из них был заселен сверху донизу тихими минувшими. И вокруг меня на целые версты тянулись и скрещивались его улицы и расстилались его площади с безмолвно стынущими на них двойниками когда-то живших. Все было ненасытимо странно в нем, и печальное и страшное веяло в нем отовсюду. Мне вспоминалась старая арабская сказка о Медном Городе, куда проникли однажды эмир Мусса и шейх Абдоссамад.

Как-то очутился я на узкой темной улице. Я брел по тротуару и вдруг вздрогнул и остановился с забившимся сердцем. Я вспомнил, я узнал место и призрак старого мрачного дома на той стороне! В том мире, откуда я пришел, я хорошо знаю эту улицу; много, очень много лет я хожу по ее камням; жизнь и настоящее незаметно из года в год

преображали ее, меняли неуловимо ее облик; они уничтожили тот дом, они поставили новый на его месте, а прежняя позабытая, с мрачным домом, затаясь в недрах стереоскопа, все уплывала и уплывала она в прошедшее. И вот вновь проник я сюда и стою и смотрю на снова без конца знакомые окна 4-го этажа, где я жил когда-то, еще ребенком!

С трепетом я подошел к крыльцу. Да! Вот две кривые темные ступени, те ступени! До мелочей припоминаю их. Вот старая стеклянная входная дверь, узнаю ее, снова узнаю! Я только ее и вижу: вот она, пустынная, забытая и вновь бесконечно знакомая лестница! Царит унылый сумрак, как и тогда, ощущается слабый запах газа, как и тогда! Дальше – внутренняя стеклянная дверь; вот она захлопнулась за мною, и печальный звенящий шум, когда-то часто слышанный, раскатился по прозрачной лестнице и на несколько мгновений наполнил ее снизу доверху. В душе смутным потоком идут воспоминания детства одно за другим, одно за другим. Направо под лестницей темнеет узкая каменная площадка, и дивлюсь, как ни разу не вспомнил о ней в течение этих долгих годов; когда-то мое детское воображение населяло ее сумрак. Вот первый марш; считаю ступени; их тринадцать, как и тогда; взгляд останавливается на третьей сверху: на ней слева большая трещина; что-то копошится в памяти, потом радостно просыпается, и вот опознаю эту бесследно забытую трещину в камне, вспоминаю все разветвления ее. Стою на площадке и в широкое окно вижу мрачный двор, внутренние флигели дома; и все является мне как сон, когда-то раньше уж сившийся и пригрезившийся вновь; и ряды окон, и крыши с трубами и флюгарками, и дальше сливающаяся громада призрачного города; все такое же, как и *тогда*, но прошедшее и выцветшее. Я иду выше по лестнице, и тишина ее нарушается лишь звуком моих шагов, и вновь становится без конца глубокой, когда я останавливаюсь. Я поднимаюсь с этажа на этаж, и на каждой площадке – смутно знакомая дверь; и воспоминания, пробуждаясь от долгого сна, узнают в буроватом сумраке очертания этих дверей, оконца над ними, ряды гвоздей обивки, дощечки с именами жильцов и радостно шепчут; «Так же, как и *тогда!*» Я глядел на дощечки; имена, что на них, я слышал ребенком от взрослых в те давно прошедшие дни, имена соседей. Здесь за сумрачными дверьми таинственно и безмолвно жили теперь их

двойники. Дощечки блестели мертвенным блеском, в них выцвело живое сияние меди. И очертания их были такие же, как и тогда: прямоугольники со срезанными углами.

Вот я достиг последнего марша лестницы и взглянул вверх. Боже ты мой, там была наша дверь! Волнение и страх охватили меня. Я поднялся по ступеням на площадку. Здесь дощечка на двери и имя отца, и буквы, когда-то изученные моими глазами и потом глубоко забытые! Вот узкие оконца наверху; через стекла их виднеются погруженные в сумрак потолок прихожей, верхняя часть зеркала, стоящего там у стены; виднеется звонок. Наружная ручка звонка здесь предо мной; я рукою ощупываю ее. Сам не зная зачем, я потянул ее, и вот за дверью внутри раздался звук давно забытый и снова знакомый, и словно выцветший; и призрак звонка, видный через стекло, знакомо заколебался.

Тогда я заметил, что дверь не заперта плотно; одна половина приоткрыта и образовала щель; толкаю ее дальше, она подается, но вот остановилась: что-то задерживает ее изнутри. Да! ведь там была цепь; дверь забыли запереть, но цепь заложена и мешает. Я просунул руку в щель и искал; и вот холодная цепь коснулась руки. Слышно, как опустилась она, глухо ударившись о дверь. Медленно отворяется дверь, и является мне, как во сне, прихожая прежних времен! Вот в сумраке вешалка с пальто и шубами, где я некогда прятался, играя. В ноздри проникает запах, разлитый здесь, и радостно опознается в безвестных глубинах памяти; и глаза в полумраке вновь следят за рисунком обой и карниза, и таинственно подтверждается из глубин памяти: «тот же, что и тогда!» Вот старое зеркало у стены; кто это глядит из него на меня в тихом сумраке? То я сам в пальто и со шляпой в руках отражаюсь в его призрачной глубине; я, живой – в зеркале минувшего. И все вокруг было выцветшее и напоено грустью о прошлом.

Направо дверь; я знаю: там кабинет отца; вижу с замиранием сердца и узнаю его темные стены, крупную печь и потолок. Решившись, вхожу в комнату; и воскресла она предо мною явственнее и жутче, чем в моих снах! Господи, кто это сидит за столом у дивана? Недвижный призрак человека, это – он! Подхожу, мучительно и жутко узнаю вновь дорогие черты; обхожу вокруг кресла, гляжу на темя, на затылок, на руки, лежащие на коленях, и взволнованные голоса

памяти подтверждают все до мелочей. Я помнил его, каким он был перед тем, как ушел от нас навсегда 15 лет тому назад; и вот здесь сидел предо мною его тихий двойник. Лицо его было недвижно и не было на нем живых красок, но все же было видно, что лицо двойника моложе того последнего лица из мира жизни; светлее выражение и меньше морщин, и не так глубоки скорбные складки у губ. Он сидел, словно глубоко задумавшись, и я смотрел на него ненасытно. Тридцать лет, как это минуло! Я сел на выцветший диван против него, и вот мы сидели вместе, как сживали в далекие золотые дни здесь же, на тех же местах. И я ощутил вновь давно и бесследно забытую упругость дивана; я обонял снова давно забытый слабый запах табачного дыма, присущий этой комнате. Письменный стол, картины на стенах, книжные шкапы, привычные, как тогда, окружали нас; двор, когда-то столь знакомый глазам, глядел в окна; все было так, как в дальние годы, когда я мальчиком сживал с отцом в кабинете. Но все ж не вернуть того, что прошло: и я уже не был мальчиком, и со мной сидел лишь печальный двойник минувшего; и прошедшими и призрачными были и стол, и шкапы, и картины, и старый двор за окном. Все было полно щемящей печали о былом; и он сам, казалось, тихо грустил, что минувшее не вернется, не вернется никогда; и я грустил с ним; таинственные слезы подступали к горлу. Потом я поднялся и пошел дальше. Тогда обступила меня давно умершая гостиная; и все в ней, столь обычное когда-то и забытое, призрачно плянуло на меня. Темные обои, три окна с цветами на них; стены противоположного дома смотрят на них; два высоких зеркала; лучи минувшего солнца падают на пол и мертвенным блеском отражаются на паркете. И вижу: сидит за открытым роялем призрак девочки и руки ее недвижно бегают по клавишам. Я наклонился к застылому и выцветшему лицу и уж не спрашиваю, кто она? И воспоминания, пробуждаясь от долгого сна, подтверждают: такие, такие черты были у ней, когда мы с нею были детьми и играли в этой комнате! Все воскресало и подтверждалось, бывшее и угасшее в памяти. Я стоял у рояля; и она и я, двойник минувшей и живой человек, вместе отражались в призрачном зеркале у стены. Поблекший ряд комнат открывается предо мной; иду по ним и тускло звучат шаги. В конце его таинственно глядит мне навстречу печальная комната, некогда без конца обычная, наша минувшая детская. Прежний стол виден там;

кто-то сидит за ним, тень сидящего лежит на полу, но самого его отсюда не видно: он за дверью. Вот подхожу и заглядываю: там сидит призрак мальчика. Ему лет семь или восемь на вид; молча и не шевелясь, он рассматривает книгу перед ним на столе. И вот узнаю с замиранием сердца, что это мой двойник! Эта темная курточка была моею: я носил ее когда-то. И книгу эту я видал прежде много-много раз, этот старый и истрепанный журнал. Вот вижу: умершая книга раскрыта на странице, где большая гравюра изображает голову великана с закрытыми веками и серьгами в ушах, двух рыцарей с мечами и трех дам, и мрачный пейзаж окрест. И узнаю в ней один образ, смутно и бессвязно хранящийся в памяти моей доселе из далекого детства, и знаю теперь, откуда он возник: то воспоминание о давней книге, уж много-много лет не виданной. Двойник сидит тихо и печально, вперив застывшие глаза в гравюру, и жадно я всматриваюсь в бесцветные черты и распознаю в них свое теперешнее лицо, в них уже загадочно затаенное. Я отхожу, останавливаюсь перед окном, и снова через 30 лет гляжу вниз на нашу прежнюю, умершую улицу; она лежит там узкая и неприветливая, какую видел я ее ребенком, сидя на этом же окне; пешеходы и извозчики стынут там внизу в буровой тени, бросаемой ее домами.

Я бродил по комнате; дотрагивался до стен ее, когда-то обычных; я трогал и брал в руки свои прежние игрушки, бесследно забытые. В темном уголку нашел я свою лошадь, о которой всегда сохранялось у меня смутное воспоминание. Как мала мне казалась она теперь; в боку ее зияла дыра, и, нагнувшись, я снова ощутил тот знакомый когда-то запах папье-маше, исходивший оттуда. Детская кровать стояла в конце комнаты; я подошел к ней, и пришла странная мысль; я прилег на нее. Она скрипела и ходила подо мною, и ноги мои не помещались на ней. Я лежал и как бы забылся, и представилось мне, что и сам я минувший. И отсюда я видел заслонку у печи с двумя круглыми ручками на ней, когда-то казавшимися мне с подушки парой чьих-то злых, упорных глаз; и над собою на потолке видел я крупное лепное украшение, каждый завиток которого изучил я когда-то отсюда с подушки. Как бесследно затонули эти предметы в глубинах моей памяти! Никогда в моей жизни не всплывали они оттуда. Но, чудилось мне, теперь я сам спустился в глубины, где таятся они, сам стал минувшим, и гляжу на них, выцветших, дивясь, и

радостно твердят голоса памяти: «Это они, которых ты без следа забыл на столько годов!» – Я очнулся от мимолетного забытья: ведь я был живой. Я повернул голову к окнам: там у стола спиной ко мне безмолвно сидел тот, кем я был; печальный призрак мальчика. Потом проникал я в другие комнаты, из одной в другую, все так же неустанно дивясь. Я прошел по длинному темному коридору, где стояли по стенам прежние шкалы; в конце его обычно зияла тьмою ванная комната, населенная моими детскими страхами. В сумрачной столовой видел я старые стенные часы и вновь узнал их облик; недвижно они показывали начало четвертого. И также узнал я вновь лампу над столом, давно исчезнувшую; я дотронулся, она медленно закачалась с тихим скрипом. Потом снова я шел в те комнаты, где сидели близкие мне тихие двойники. И я был одинокий живой человек среди них, давно отошедших; пришедший к ним в их невозвратное обиталище. Я стоял, затонув в бездонной тишине прошлого, и грустил о том, что не вернется оно; плакал в душе о том, что не дано человеку изжить то же мгновение снова и снова, тысячу раз. И вместе с тем сердце до краев наполнялось неизъяснимым упоением: сбылись старые предчувствия волшебств стереоскопа! И я благодарил Бога за его чудеса и тайны. Я становился на колени в глубоком изумлении перед теми печальными призраками и подолгу стоял в благоговении перед каждым из них, перед священными двойниками минувшего; а они все сидели тихо-тихо, безответно молчали и тайно грустили о том, что ушло с ними навсегда.

Но вот незаметно в душу мне проникли первые, еще тонкие струйки возвращавшегося страха. Я огляделся вокруг, и мне почудилось, будто в этом неизменяемом мире что-то едва приметно, но странно изменилось; и вдруг убедился я, что в комнатах немного *стемнело* с тех пор, как я вошел; я посмотрел в окна: казалось, и тень, кроющая стену дома напротив, тоже словно углубилась. Я подумал, что глаза мои, быть может, обманываются; но страх не уходил, и таяло перед ним в сердце упоение, и враждебное стало мерещиться в близких мне двойниках. Я еще раз обошел комнаты, бросив прощальный взгляд на все; вышел на лестницу и, притворив дверь, заложил по-старому цепь, чтобы все оставить так, как было раньше. Потом я быстро спустился вниз; стеклянная дверь внизу еще раз

захлопнулась за мной, наполнив сумрачную лестницу снизу доверху звенящим шумом; и я снова был на улице.

Я шел, прислушиваясь к отголоскам пережитого упоения, все еще не смолкавшим. Но, снова вглядываясь в тени от домов и печальные дали улиц, понял я вдруг, что глаза мои и раньше не ошибались: в мире стереоскопа воистину свершалось загадочное потемнение. Словно смеркалось в нем; страх мой вырос, овладел сердцем, изгнав упоение, и таинственно слился с наступающими сумерками. И вот после долгого промежутка вспомнил я снова о старухе, лежавшей навзничь в темном зале, и содрогнулся. И в ту же минуту жуткое предчувствие шепнуло мне: это ее мертвенная злоба наворожила эти сумерки... Тогда одно стремление всецело овладело мною: скорее достигнуть Эрмитажа. Поспешно шел я мимо толп молчаливых призраков, и шаги мои торопливо звучали среди умерших улиц. Пугающий образ старухи стоял предо мною; и снова думалось мне о первой встрече моей с нею, с живою, что хранилась в памяти, как бессвязное далекое видение; и о иных связях в судьбе человека. Не в тот ли самый день произошла наша встреча? И вот, я говорил о себе, о минувшем двойнике моем там в мрачном доме: быть может, какие-нибудь умершие, выцветшие думы таятся в призраке; и мальчик, сидящий там над книгой за столом, мертвенно думает об Эрмитаже, где впервые был и откуда только что вернулся, о таинственном сумраке Египетского зала и о встреченных среди него на мгновение ветхих глазах странной старухи...

Я спешил, почти бежал. Полпути миновало, когда я заметил с ужасом, что над городом смеркло еще глубже. Теперь явственней стали бурые тоны в перспективах улиц, страшнее стали тени, лежащие от домов; все глубже погружались в них пешеходы и экипажи. Зловещи и печальны были эти коричневые сумерки стран стереоскопа. Солнце не склонялось к закату; оно недвижно стояло все там же и постепенно помрачалось вместе со своим миром; на него становилось все легче смотреть, не щуря глаз. Буроватый оттенок разлился в небесах. Все более и более зловещим делался мертвый город и бесчисленные полчища двойников. Я ускорял шаг и наконец вошел на знакомый небольшой мост; в отверстие арки, перекинутой в отдалении через мрачный канал, глянула на меня на миг широкая стемневшая река. Усталый, я вошел поспешно на крыльцо с

исполинскими кариатидами. Мрачный вход в вестибюль веял на меня страхом, и некоторое время я стоял, не решаясь войти. Потом все-таки взошел, взялся за ручку внутренней двери; она легко подалась и притворилась. Я снова был внутри Эрмитажа; я увидел, что сумрак, царивший в нем, сгустился с тех пор, как я его покинул. Темнелся вход в зал Египта, и влек меня он заглянуть туда, но, одолев влечение, я повернул в Этрусский зал. Вот иду поспешно, шаги отдаются; углубляются буроватые сумерки, и знакомые неподвижные фигуры зловеще тонут в них.

Вот книжные шкафы и огромная голова на высоком пьедестале; стены печальных обширных зал обступили меня издали со всех сторон; вот угол, где я вчера прятался от ужаса. Впереди у поворота уже глубоко воцарились зловещие сумерки. Внезапно я остановился и застыл: что это? точно чьи-то шаги впереди меня; кто-то идет мне навстречу! – Я не верил своим ушам и жадно вслушался. Это не были отзвуки моих шагов: теперь я стоял неподвижно. Странные звуки были очень невнятные, едва уловимы, но в бездонной тишине мертвого зала они все ж доходили до меня. Это были шаги шаркающие, словно шедший несколько волочил ноги. И сразу же в звучании их поразило меня что-то невыразимое, отчего упало сердце и в голове народились безобразные предположения. Через некоторое время шаги замолкли, шедший остановился. Я не вынес наступившего безмолвия, бросился в сторону, притаился и ждал. Потом шаги возобновились; они возникали за темным поворотом впереди; близились, становились все громче и внятнее. Я слушал жадно и вдруг уловил, что поразило меня в них: они не были похожи на шаги живого человека, они были монотонны и мертвенны, словно шел автомат. Застыв, впери я глаза в сумрак; и вот из него народилось что-то, что-то вынырнуло! странная низенькая фигура с причудливой шляпой на голове! И я узнал ее в одно мгновение: значит, поднялась она с пола, ходит куклообразный двойник, ищет меня! И движения ее словно связаны чем-то, как движения автомата; безобразны и безжизненны. Ближе, ближе; страшная фантоша идет прямо ко мне, уставившись на меня стеклянным взором; ковыляет на ходу и шаркает ногами.

Я дико закричал, пробудив в залах жуткое эхо, и бросился бежать назад. Я несся большими скачками и быстро достиг темного входа в зал Египта; но не посмел проникнуть туда, свернул в сторону и

ринулся вверх по мраморной лестнице, шагая через 3–4 ступени. Достигнув конца ее, я наполовину обежал колоннаду, идущую вокруг колодца лестницы, и остановился, опираясь на массивные перила, над обширным колодезем. Сердце неистово билось и в голове мчались несвязные мысли о таинственных равновесиях, нарушенных вторжением живого в недра стереоскопа; о страшных изменениях в вечной неизменности этого мира; о надвигающихся сумерках, о мертвенной злобе старухи. Значит, могут двигаться потревоженные двойники! Вечно неподвижные минувшие сходят со своих мест, бродят порою, но все ж не обрести им полноты живых движений; из их членов прежняя застылость уходит не до конца, и они становятся лишь страшными автоматами... Я осмотрелся: уж и сюда проникали через широкие окна буроватые сумерки. И перегнувшись через перила, я видел, что внизу прямо подо мною вестибюль уже совсем утонул в густой, почти красноватого оттенка тьме.

И вот я снова услышал шаги; они народились во мраке на дне огромного колодца лестницы и становились все внятнее. Сквозь буроватые тени уже можно было различить странный темный предмет, поднимавшийся по ступеням вверх. Призрак подымался, несмотря на автоматичность движений, с неестественной быстротой и проворством; скоро он отчетливо выступил из темноты. Потом я увидел, как, не дойдя ступеней десять до верху, он остановился и вдруг повернул голову в мою сторону, и опять глаза наши встретились. Затем, как бы удостоверившись, что я здесь, безмолвный автомат стал снова озабоченно и торопливо подыматься по ступеням; вступил под колоннаду и направился ко мне. Я побежал вдоль перил, стараясь как можно скорее достичь лестницы, но старуха вдруг повернула назад, и мы почти столкнулись у первой ступени. Я быстро отскочил в сторону и со всех ног бросился в верхние залы. Выцветшие ряды знакомых картин мелькали по стенам; гулко звучал мой бег по паркету; печальный зловещий сумрак разливался вокруг, и недвижимые фигуры, тонувшие в нем, безмолвно смотрели на мое дикое бегство. А сзади гналась причудливая фантоша, и слышался частый и монотонный стук ее ног. Когда я пробежал по небольшой комнате с тусклыми фресками, лицо мое отразилось на мгновение в призрачном зеркале, бледное, искаженное, окутанное сумраком; и я знал, что чрез полминуты в нем таинственно отразится гнавший за мною страшный призрак.

Порою погоня затихала; должно быть, она сбивалась с пути. Раз, воспользовавшись этим, я осторожно стал пробираться по лестнице, чтоб снова попасть в нижние помещения, но входя в одну из зал, я увидел, что фантоша ковыляет мне навстречу из смежной залы, и поспешно повернул назад. Другой раз я сначала долго прислушивался, притаившись, не слышать ли шагов; около минуты было мертвое безмолвие. Тогда бегом на цыпочках направился я к лестнице, но в какой-то маленькой темной комнате столкнулся с нею лицом к лицу. В немом ужасе я схватил ее за плечи, постоял так, не в силах оторвать взора от мертвенно-злых ее глаз; потом я что было силы оттолкнул ее от себя; она качнулась и с глухим стуком упала навзничь. Быстро добежал я до лестницы, но остановился в нерешительности: сумерки уже так углубились, что обширный колодец ее сиял предо мною темною бездной; однако выбора не было, и я бросился вниз по ступеням в сумрачную пропасть вестибюля. На последних ступенях я обернулся и посмотрел вверх; вижу: на верхней площадке появился силуэт автомата и спускается вниз! Не думая, что делаю, я бросился вправо и спрятался за вешалку. Все ближе и ближе звучат мертвые шаги по ступеням; что если она заглянет ко мне за вешалку? Но, о радость, вижу: фигура призрака проковыляла мимо меня, как бы не заметив, направилась к залу этрусских ваз и утонула во мгле его.

И вот я мгновенно понял, что могу достичь залы Зевса раньше, чем старуха дойдет до него через длинный ряд покоев нижнего этажа. Чрез зал Египта пролегал более короткий путь. Осторожно я вышел из засады и бросился ко входу в зал, преодолевая свой ужас перед ним. Но вбежав, я приостановился, смущенный тем, что увидел. Здесь все уже потонуло в коричневых сумерках, но среди них я смутно различил какую-то новую фигуру, сидевшую на черном саркофаге в глубине; она была неподвижна и лишь медленно поворачивала голову в мою сторону. То был минувший посетитель; должно быть, и он вслед за старухой стал автоматом, задвигался и взгромоздился на саркофаг. Я вспомнил о двух застывших призраках, которых заметил мельком здесь еще прежде. В темном углу под окнами кто-то копошился и шуршал; то был, вероятно, второй из них. Встревоженные вторжением в их мир, они сошли с мест и вот причудливо и жутко безобразничали в стемневшем зале! Но быстро преодолев смущение, я снова побежал, не оглядываясь. Вот зал Зевса; все залито густым сумраком; статуи,

прежде белые, теперь коричневые, зловеще выступают из него. Вот и фотограф; недвижимое лицо его теперь красновато-буро и страшно. Я вплотную встал к аппарату затылком: он ощущает трубки двойного объектива. Пред глазами вход в смежный зал, там глубокие мертвые сумерки, а в отдалении слабый просвет. И вот снова где-то впереди меня нарождаются слабые отзвуки шагов; призрак обошел кругом нижние залы; в просвете уже показался его темный безобразный силуэт и быстро близится. Но, слава Богу! чувствую, как зал начинает словно удаляться; я уже за чертой его. Свершилось снова волшебное возвращение в жизнь и настоящее. Я снова сижу за столом в моей комнате; лампа горит передо мной, и на горке из книг стоит стереоскоп.

Я откинулся на спинку стула, отведя глаза от линз, и несколько времени сидел так. Сердце все еще глухо и часто стучало, в ногах была страшная усталость, а пальцы еще хранили отвратительное чувство от прикосновения к плечам призрака. Потом я осторожно заглянул в линзы, сперва издали, не подводя к ним глаз вплотную; там виднелся смеркшийся зал, но уж отдаленный, уменьшенный; и я уже был вне его, грань легла по-прежнему между им и мною. Я смелей приблизил глаза к стеклам, и вдруг увидал: там около гробницы в глубине зала, смутно выделяясь в буром сумраке, сидит на полу старуха и смотрит на меня в упор! Я, как безумный, вскочил со стула, оттолкнув от себя горку из книг, и стереоскоп со стуком упал на стол вверх линзами. В голове пронеслась страшная мысль: ведь она может перешагнуть грань и проникнуть сюда в мою комнату! Ведь мог же я из жизни проникнуть в ее минувшие области! И в ужасе своем, не помня, что делаю, я схватил молоток, лежавший на столе, и раз, два! разбил вдребезги обе линзы; их осколки со звоном упали внутрь стереоскопа.

Я долго ходил по комнате, прежде чем немного успокоился. Только тогда я заметил, что я все еще в пальто и кашне, шляпы же на голове не было. Я искал ее на полу, но не нашел: верно, я как-нибудь незаметно потерял ее в призрачных залах во время своего бегства. Потом я взял стереоскоп, и после долгих стараний мне удалось разломать его заднюю стенку и вынуть снимок, вставленный в нее. С замиранием сердца я поднес его к лампе: на нем было глубоко побуревшее изображение знакомого зала; такими бывают сильно

поврежденные на свету фотографии; и зала на снимке казалась затонувшей в красновато-коричневых сумерках. Но на изображении уже не было фигуры, сидящей на полу, и нигде на всем снимке я не мог отыскать никаких следов старухи: должно быть, она успела ускользнуть из поля зрения. Казалось, побурение снимка остановилось; странные сумерки в том мире не углублялись дальше; и я подумал, что, быть может, снова застыли и двойники, сошедшие со своих мест. Я со всех сторон осмотрел стеклянную пластинку; это был обыкновенный снимок для стереоскопа, двойное изображение зала, вершка 4 длиной; на правой половине его сверху еще можно было разобрать надпись от руки: «21 Апреля 1877 г.».

* * *

Так уничтожил я стереоскоп. Как и когда попал он в аукционный склад на Г-ой? Кто создал его? Кто открыл путь в выцветшие страны прошлого? Был ли это тот высокий фотограф, чей двойник вечно стоит в призрачной зале? Или кто-нибудь другой? И если это был он, что ощутил он, когда впервые переступил грань того мира и, обернувшись, увидел своего двойника в глубокой тишине умершего зала? Как, проникнув в те печальные страны, сумел он не потревожить покоя тихих призраков, не пробудив затаенного ужаса, не накликав зловещих сумерек? Быть может, ему не суждено было уже вернуться назад в жизнь и настоящее и какие-нибудь тайные причины навсегда похоронили его в недрах стереоскопа; его мог настичь разрыв сердца на улицах мёртвого города, он мог упасть с лестницы или утонуть в водах минувшей реки или канала. Или (кто знает?) творцу стереоскопа не удалось самому переступить грани линз, и из всех живых я первый и последний посетил недра минувшего.

Теперь уже много времени с той ночи. Когда мне попадается под руку какой-нибудь стереоскоп, я беру его, гляжу в него, и старое волшебство по-прежнему веет в душу. Но знаю я, что это лишь предчувствие странного упоения, но полноты этого упоения уж мне больше не пережить; ведь я, некогда проникавший туда, могу теперь туда лишь заглядывать. Через круглые стекла вижу я сосновый лес с узкой дорожкой, уходящей вглубь, на ней мертвенно блестят лужи от

недавнего дождя, и мне чудится, что я уже там внутри, хожу по сырой дорожке, углубляюсь в лес мертвых выцветших сосен; смотрю, как отражаются они в недвижных, как зеркало, лужицах; пробираюсь к призрачной прогалине, что мерещится вдали меж стволами, и среди великого безмолвия минувшего леса слышится лишь слабое хрустение веток под ногами, водяные капли брызжут с коричневых листьев кустов и вокруг разлит легкий запах сосен после дождя. Но то – воображение: непереступаемой гранью я отделен от этой страны. Или через линзы вижу какой-то пустынный морской берег, и мне чудится, что я уже там прогуливаюсь по влажному слабо хрустящему песку, и безлюдные излучины странного побережья тянутся в обе стороны, и прямо предо мной пустынно расстилается минувшее море с белеющими, навек застывшими гребнями всюду, куда хватает глаз; и все бесцветно и печально; я стою и слушаю мертвое безмолвие моря и берегов и обоняю соленую свежесть и слабый запах ила. Но все это лишь чудится, и чрез мгновение вспоминаю я, что лишь смотрю в стереоскоп и отделен заповедной гранью от моря прошедшего.

Но больше уж нет того старого прибора, что один воистину растворял двери в прошлое; лишь остов его стоит на моем столе; осколки линз сложены в коробку и убраны. Иногда я достаю этот вынутый из стереоскопа двойной снимок, с потемневшим «передержанным» изображением зала. Снова рассматриваю его; стены, пол, статуи и в глубине уходящую анфиладу покоев можно довольно ясно рассмотреть сквозь густые коричневые сумерки; и сумерки эти не углубились с тех пор. Ничего не изменилось в снимке, только странный мир, затаенный в нем, с каждым днем уплывает все дальше в прошлое. Там таятся эрмитажные залы, утонувшие в зловещей мгле, и в них обитают тихий фотограф, и молчаливые посетители, и вновь застывшая страшная фантоша, и вновь застывшие страшные двое в Египетском зале; там в мрачном покое стоит витрина с разбитым стеклом, обокраденная мною, и где-то на полу в темноте валяется моя шляпа. Там таится огромный умерший город, зловеще смеркшийся, и старый знакомый дом и комнаты, где обитают тихие близкие мне двойники. Они сидят там, погруженные в сумрак, и с каждым днем все дальше и дальше уплывают в прошедшее. Туда мне уже никогда не проникнуть; навеки завален таинственный вход.

Здесь, в нашем мире, я часто брожу по залам живого Эрмитажа. И блуждая, стараюсь я сквозь красочное настоящее разглядеть призрачные прошлые залы. Там был я недавно в темный зимний день, в один из тех дней, когда даже в верхних залах царит мутный полусумрак. Печальный тусклый свет с бесцветного неба вливался в окна. В нем живые краски вокруг, казалось, тускнели и блекли, и оттого отчетливее проступало выцветшее минувшее; особенно отчетливо проступало оно в тех покоях, где я случайно оставался один и не было никого другого. Порою чудилось мне, что вот стены, пол, картины, украшения на потолке обесцветятся до конца, и все умрет и застынет, и я снова буду отражаться в призрачном зеркале одинокий, живой и двигающийся среди мертвенного минувшего. Становилось жутко, когда, взглянув на поворот стены, группу статуй в тени или отблеск света на полу, вспомнил я отчетливо, что было со мною в этом месте во время моего бегства во мгле невозвратных зал и лестницы. И еще явнее проступало прошлое в нижних покоях в полусумраке, что проливал зимний день в угрюмые и редкие окна. Там, где сходятся вместе три обширные залы у книжных шкапов, с волнением я узнавал место, с которого впервые услышал страшные шаги, и угол, где прятался от ужаса в первую ночь. Я долго медлил в зале Египта; там полный странных дум стоял я в мрачном углублении у стены, где увидел я в первый раз сторожившую старуху. Потом подошел к витрине со скарабеями и глядел на лежащие под цельным нетронутым стеклом древние амулеты. И вот, вынув из кармана вещицу, принесенную *оттуда*, я сравнивал ее глазами, как не раз уже раньше, со скарабеями из зеленого камня в витрине. И снова убеждался я, что они схожи, как двойники; одинаков размер, одинакова форма, одинаковый кусок отбит внизу правого крыла; но мой скарабей темно-коричневый. И снова, как не раз и прежде, стоял я над ними в глубоком изумлении.

И все чаще я задумываюсь о том, кто же была та причудливая старуха, бродившая как-то тридцать лет назад по нижним залам; на что глядела она из своего угла, когда наступало мгновение, запечатленное на старом снимке. И я говорю себе: может быть ей полюбился мальчик, встреченный ею в тенистой зале и скоро уведенный прочь отцом; и, не найдя их и возвратясь в ту же залу, она глядела загадочно, пристально на черную витрину, у которой он

недавно стоял. Потом призрачная фантоша в недрах стереоскопа стала стеречь мертвенным взором витрину со скарабейми: ведь у этой витрины увидела она когда-то полюбившийся ей детский облик; и этим взором, затаившим в себе ее выцветшую думу о мальчике, она охраняла в далеком доме вечный покой моего двойника; ревниво боясь, чтобы не похитили его из ее печальных областей; оберегая его тайну и с нею все иные тайны прошлого... Я не знаю и страшусь знать, кем была она в нашем, живом мире, когда в туманном детстве я встретился с ней; но из владений ее двойника не уйти призраку мальчика, что сидит теперь во мраке невозвратной комнаты. Так размышляю я, а остов стереоскопа стоит на столе, освещенный лампою; и предо мною лежит темный скарабей, тайна тех грустных стран и моего отроческого двойника, похищенная у старухи.

Александр Иванович Куприн

Жидкое солнце

Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Много из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия.

Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес».

Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча... Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и

восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть, даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное – нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать – совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.

Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тьютора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она была чересчур упорно.

Ни на заводах, ни в технических конторах – нигде я не мог и не умел пристроиться. Большею частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.

Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще

чаще мне ничего не платили за мой двух-трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.

Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба наконец сдалась перед моим англосаксонским мужеством.

Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существовании лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шутя мог зарабатывать восемь – десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.

Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие

доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчиными лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сэндвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, – но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений – ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.

Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнущую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:

– Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.

Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление: «Стряпчие „Э. Найдстон и сын“, Реджент-стрит, 451,

ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалование – 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов». Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою. – Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие, – сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. – Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почему знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия! На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».

В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной – таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, – дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестящих от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный вконец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов! Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего

алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего возраста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными теньями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытасканных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они, взятые вместе.

Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:

– Номер восемнадцатый, и, слава аллаху, последний! Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне^[1], был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу.

Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.

– Подождите, – сказал смуглый. – Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.

Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.

– Наконец-то хоть один в чистом белье, – сказал он небрежно.

Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:

– Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?

– Вы свободны, доктор, – сказал стряпчий. – Но вы, конечно, позвольте известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?

– О, мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам. Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголки.

– Поговорим, – сказал он отрывисто. – Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?

Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне...

– Образование?

– Королевский университет.

– Специальность?

– Математический факультет. В частности, физика.

– Иностранные языки?

– Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.

– Родственники и их социальное положение?

– Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?

– Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.

Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:

– Пьете? И сколько?

– Иногда во время обеда полпинты пива.

– Холост?

– Да, сэр.

– Собираетесь сделать эту плупость? Жениться?

– О нет.

– Мимолетная любовь?

– Нет, сэр.

– Гм... Чем теперь занимаетесь?

Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.

– Так, – сказал он, когда я окончил. – Нуждаетесь сейчас в деньгах?

– Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Слежу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.

– Не хотите ли денег вперед? В задаток?

– Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего... Да мы еще не покончили.

– Правила ваши недурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И вероятно, очень скоро. Доброго пути.

– Простите, мистер Найдстон, – возразил я. – Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?

– Прошу вас.

– Цель поездки?

– Эге! Разве вам не все равно?

– Предположим, что нет.

– Цель чисто научная.

– Этого мало.

– Мало? – вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. – Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтора столетия лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?

– О сэръ, я не сомневаюсь, – возразил я сконфуженно.

– Хорошо, – прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. – Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона...

– Куда? – спросил я быстро.

– Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.

– Странно, – сказал я.

– Удивительно странно, – охотно подхватил стряпчий. – И даже, если угодно, я вам скажу больше: это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!

Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.

– Подождите, – воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон. – Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять – тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, сменяющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее и так далее, – то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.

– Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?

– Если хотите, – да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой – из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устройства и украшения земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастью будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.

Я невольно привстал, повинувшись его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.

– Да, да, поглядите, – произнес мистер Найдстон, – поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения земли. Он говорит вам, что все, что есть на земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов – все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?

– Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца? Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо:

– Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий – хранитель и представитель чужих интересов.

После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе наконец надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решила показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, – человек шесть или семь Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.

И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451. Найдстон».

Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в двухстах. Мистер Найдстон был один. Ничто в нем сначала не

напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет. Это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня, как следователь.

– Здравствуйте, садитесь, – сказал он, указывая на стул. – Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найдстон и сын, но сам

– холостой и одинокий человек. Итак, – есть? Пить?

Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найдстон неторопливо ел,пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил:

– Итак, согласны?

– Купить кота в мешке? – спросил я, в свою очередь.

– Нет, – воскликнул он громко и сердито. – Прежние условия остаются *in status quo*^[2]. Перед отправлением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы, с своей стороны, можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной.

Я внимательно поглядел на него. В это мгновение он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу – странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутягу, готового засадить за два пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния. И Найдстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза,

крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой.

– В конце концов вы мало чем рискуете, дорогой мистер Диббль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас на крайний случай месяца два, – может быть, неделей больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояковыпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет... «Обсерватория! – радостно подумал я. – Конечно, это обсерватория! Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба».

Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее.

– Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся, это я вижу по вас, но, – и он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался, – но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около десяти, двадцати чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался впросак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас пляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак?

Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее.

– Хорошо, – сказал я. – Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении.

– О, зачем так скоро, – возразил добродушно мистер Найдстон. – У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета. – Он надавил кнопку висячего звонка. – Затем вы устройтесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же, в восемь часов вечера, вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали, – вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом, – если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Диббль!

Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренне:

– За чем же дело стало, дорогой мистер Найдстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я.

Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный, длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом:

– Эх, мой милый! Контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами... всего я и не перечислю... Значит, больше никаких сомнений?

– Нет.

– Итак, чокнемся и споем: «Rule Britannica»^[3]. И мы чокнулись и запели – я, почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, – запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире:

Правь, Британия, Правь через волны, Никогда, никогда, никогда Англичанин не будет рабом!

Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистру Найдстону, сказал:

– Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в Королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей

французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов... но у всех у них очень капризный музыкальный слух.

– Вы правы, – кротко ответил стряпчий, – и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля.

Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки: Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольдов в Гамбурге, Пейсе, братья Шотт и Сляттф в Иене; в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера и там же Мерц; Шик в Берлине, Беннех и Вассерман там же. И там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак.

Маршруты, составленные мистером Найдстоном, были необычайно точны, вплоть до указаний времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция: «Если бы Чане и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французам и немецким шнурбартбинтхалтерам»^[4].

Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз, в критические моменты, в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найдстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найдстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным, глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой

выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезками. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный пятидесятидюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, – у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума.

Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные, ученые люди старались, поочередно, по секрету друг от друга, проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самому, патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и т. д., и т. д. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найдстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные, чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые стеклянные, странной формы колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе не виданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным: загадочное предприятие, которому я *служил*, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия.

От назойливых расспросов я отделялся тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию: толстый,

наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в двести тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отдельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон^[5], хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул:

– Э, бросьте, мой милейший, эти штучки. Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на...

Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз, на мостовую, сказал твердо:

– Еще одно слово – и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два...

Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали.

Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик – Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэльс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и к господину Маасу?» А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом?»

Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и зашифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность.

– Извините нас, молодой человек, и не считите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим, – сказал старший из них и более важный – Даниэльс. – На линии Амстердам – Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших

марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порою даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям, и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором? Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят в сложности около миллиона трехсот тысяч франков и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а пожалуй, и во всей вселенной.

Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллианщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь:

– Не хотите ли теперь взглянуть на них?

– Если это удобно и возможно для вас, то, пожалуйста, – сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение.

Оба еврея, почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра, – Даниэльс дубовый, а Маас красный сафьяновый; осторожно отворили золотые застёжки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые выпуклые стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности.

– Удивительная работа! – воскликнул я, восхищенный. – Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами?

– Молодой человек! – произнес Даниэльс испуганным шепотом. – Это не стекла, а два брильянта. Один, вышедший из моей

мастерской, весит тридцать с половиною каратов, а брильянт господина Мааса целых семьдесят четыре.

Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.

– Брильянты? Брильянты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком!

– Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире, – важно подтвердил ювелир, – но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?

– Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найдстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам – ученый по образованию – пока ровно ничего не понимаю.

Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.

– Да... это так, – сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания. – По-видимому, вам известно не более, чем нам, но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями?

– Я связан словом, господин Даниэльс, – возразил я по возможности мягко.

– Да, это так... это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и брильянтов, совершенным незнакомцем.

Еврей усмехнулся тонкой улыбкой.

– Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна.

– Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих? – удивился я. – Ну, и болтун же этот немецкий боров.

Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде.

– Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать! Нам, у которых в блиндированных несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию. Да. А через три дня о вашем поступке узнал и мистер Найдстон.

– Этого еще не доставало! – воскликнул я в смущении.

– Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее выиграла. Знаете, как отозвался о вас мистер Найдстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: «Я заранее был уверен, что этот славный малый Диббль иначе и не мог бы поступить». И я, с своей стороны, могу только поздравить мистера Найдстона и его главного доверителя с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя... хотя... Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды...

– Да, – подтвердил немногословный Маас.

– Да, – повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволочлось грустью. – Нам привезли эти брильянты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубы и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, – мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос: кто мог придать алмазу такую форму? И притом взгляните, – вот вам лупа, – ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней и какому чудовищному давлению они потом подвергались. И я, – вздохнул грустно Даниэльс, – и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность.

– Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии...

– Оставьте. Я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути. Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом

пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать и я спустился в занятую мною каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подостлав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта, со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха, принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке:

– Не волнуйтесь, сэръ. Моя обязанность – провести эту ночь около вас на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса.

Старый еврей писал коротко и любезно:

«Не откажите мне в маленьком удовольствии: примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предохраняющий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков.

Даниэльс».

В пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки.

А мой «дог» запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул.

– Благодарю вас, дорогой мистер Диббль, – говорил мне через день мистер Найдстон, крепко пожимая мою руку. – Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжение недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выедем в Саутгемптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалованье и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник.

В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найдстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов.

– Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один, – говорил мистер Найдстон. – С вами вместе отправляется некий мистер де Мои де Рик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы, как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная беспричинная антипатия, попросту – старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от галльского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чальсбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мои де Рик приедет минут через двадцать – двадцать пять с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные, хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить три-четыре года бок о бок черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбэ, где вас, белых людей, будет всего пять-шесть человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните – вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с одиннадцатичасовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам.

– Нет, дорогой мистер Найдстон, я уже на Каямбэ, – возразил я, смеясь. – Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному труду, и когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчэпла перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня

будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах.

– О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной, по своей идее, работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то небольшое, что мне известно. Лорд Чальсбери вот уже девять лет трудится над невероятным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше – сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам...

– Неизмеримо! – повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найдстона.

– Вот и все, что я знаю, – произнес стряпчий. – Нет, знаю еще из личного письма лорда Чальсбери ко мне, что теперь он более, чем когда-либо, близок к счастливому окончанию своего труда и менее, чем когда-либо, сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чальсбери – это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И, кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца... Но вот подымается по сходне и ваш спутник, – вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найдстон. – Возьмите же себе этот конверт. Там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней шестнадцать – восемнадцать. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук тридцать кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете

небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай... Кстати, вас укачивает в море?

– Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море.

Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво:

– Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Диббль, счастливого плавания, бодрости и здоровья... Здравствуйте, мистер де Мои де Рик. Познакомьтесь, господа. Мистер Диббль, мистер де Мои де Рик – будущие коллеги и сотрудники.

Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего он походил наружностью на левантинца, со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время прозвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным голосом, сигнальная труба.

– Ну, теперь прощайте, господа, – сказал мистер Найдстон, – от души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания.

Он живо спустился по сходне с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кеб, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку. Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти семнадцать дней тянулись для меня, как сто семьдесят лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем.

С де Мои де Риком мы встречались по несколько раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли.

Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найдстоном. Большинство их были узконаучные сочинения, заключающие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описания опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и две-три книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользкими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мои де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк.

Наконец-то мы прибыли в Аспинваль (он же Колон), на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найдстона, мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою в купе. Драгоценные шлифованные брильянты были, конечно, при мне, но я – теперь мне стыдно в этом признаться – не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова. Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом, зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гваякиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до г. Квито. В Квито, следуя указаниям мистера Найдстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор» и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы

переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь, в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные – эти мулы. Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные, стаканчиками, копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла.

К пяти часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами.

В шестом часу, когда мы прошли небольшой туннель, перед нашими глазами вдруг открылось жильё: несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через четверть часа мы уж были на месте.

Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чальсбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: пятьдесят или семьдесят пять. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, – в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию.

– Я бесконечно рад вашему приезду, – говорил лорд Чальсбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. – Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Вайдстон? Не правда ли, замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель, почтенный Самбо, – указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней. – Он покажет вам ваши комнаты. Ровно

в семь мы обедаем, об остальном распределении времени вам расскажет Самбо. Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по три комнаты, – простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно. С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну (на пароходе благодаря качке я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспинваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия, даже моему другу Джону Джонсону). И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился, и потом одевался с особою тщательностью, меня не переставала преследовать мысль: почему мне так знакомо лицо лорда Чальсбери? И что такое, почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем? Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому, как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали. Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекаемыми по узким рельсам бойкими выхолонными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру -5° , которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов: белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще-черного. Я смотрел и думал: какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят миллион триста тысяч франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников...

Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чальсбери, и вдруг – стоп! – внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как пятнадцать лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чальсбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чальсбери, другие тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы; третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп, четвертые, и наиболее догадливые, уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу.

Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чальсбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чальсбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через два месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и флюоресценции.

Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга. И почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил:

– Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?

В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гардению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мои де Рик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне. И должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чальсбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге.

– Сейчас выйдет леди Чальсбери, – сказал он, посмотрев на часы. – Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся два-три часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставляю вам полную свободу. Впрочем, то же относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество, и потому... – Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. – Потому, леди Чальсбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей – мистера Диббля и мистера де Мои де Рика. – Мисс Соутни, – обратился он к увядшей спутнице своей жены (она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чальсбери), – это мистер Диббль, а это мистер де Мои де Рик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании.

За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чальсбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал.

Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чальсбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была на много, даже очень на много лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, не тронутое экваториальным загаром лицо, в рамке густых золотых волос, с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть, и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света, во влажной темной теплице.

Но я также заметил во время обеда, что и де Мои де Рик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным: изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и не разборчивого в средствах покорителя женских душ. После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мои де Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чальсбери футляр с брильянтами и сказал:

– Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама.

– Вы везли их при себе?

– Да, сэр.

– И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории.

Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он брильянты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения:

– Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхностей. Завтра же утром, мистер Диббль, мы закрепим их на

место. До десяти часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мои де Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в десять прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Диббль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом – Homo sapiens^[6].

Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором.

На другой день, ровно в десять часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чальсбери.

– Вы готовы. Я очень рад, – сказал патрон, здороваясь со мной. – Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу.

– Три четверти этой чести, если не больше, сэр, по совести принадлежат мистеру Найдстону.

– Да, это прекрасный человек и верный друг, – заметил со светлой улыбкой лорд. – А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?

Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню, белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля. Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чальсбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен семи или восьми высотой. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках посреди операционных зал, на случай тяжелых и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, не виданными мною приборами, поднимались вверх три солидных медных цилиндра. На высоте около двух человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся

на три, более широкого диаметра, трубы; те, в свою очередь, тоже утраивались, а верхние концы последних медных, массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилях, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверх, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек – все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса.

Точно угадав мое настроение, лорд Чальсбери заговорил спокойно: – Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбираю, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно.

Итак, в крыше здания проделано двадцать семь близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояковыпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверно, вы и сами понимаете идею? Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец к свободному концу этого главного

внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри, механически, ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации.

– Значит, Гук, и Эйлер, и Юнг?..

– Да, – прервал меня лорд Чальсбери, – и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго – все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через десять минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев, божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да! Теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира... Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу.

– Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц, – сказал лорд Чальсбери. – Тем более что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все двадцать семь обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, – словом, так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Смотрите!

Кляк! И двадцать семь крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла.

– Каждое утро вы, мистер Диббль, – продолжал ученый, – должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается.

И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, которую достал из бокового кармана, завернутой в папиросную бумагу...

– Теперь пойдете вниз, – продолжал он, – я вам покажу ваши дальнейшие обязанности.

Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения:

– Затем вы должны «поймать солнце». Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мною уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время: десять часов тридцать одна минута десять секунд. Вот три кривых рычага: большой – часовой, средний – минутный, малый – секундный. Смотрите: поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет десяти часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на тридцать шесть минут. Есть. Перевожу малый – это моя личная фантазия – еще на пятьдесят секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни. Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию, вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими, следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр, мы приближаемся к десяти часам тридцати минутам. Еще пять секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд... Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды; вот регулятор – вперед, назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды.

Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он

нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные межпланетные области, вне земной атмосферы. Поэтому: присмотритесь, – вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них – стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз. Я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F, на нем есть красная черта, предел давления. Прислушайтесь к акустической трубе, ведущей вниз, в насосный аппарат. Вот шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинувшись всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли? Вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон с сжатым воздухом: в случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще – вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза.

Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая, незначительная, в два-три миллиметра, поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов тринадцать, и вы должны их все контролировать раза три в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх. Мы поднялись по

узким ступенькам и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди, легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца.

– Это маленький колодезь, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы – это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на нуль. Это пустая работа. Вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту. Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие двенадцать контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чальсбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатались по лицу.

– Наденьте консервы. Вот они, – сказал патрон, протягивая мне футляр.

Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше.

– Возьмите более темные очки, – сказал лорд Чальсбери, – у меня их заготовлено до десяти номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр привезенные вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втрое затруднительнее. Хорошо. Так. Теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натерера. Открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь

внутри цилиндра температура сто пятьдесят градусов, и давление равно двадцати атмосферам; первое показывает манометр, а второе термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее: свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно-яркой струей, приблизительно в карандаш толщиной. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в одну стотысячную секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре пять. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через три его затвора или, вернее, шлюза.

Вот основа моего собирателя жидкого солнца, – сказал торжественно учитель. – И, чтобы устранить в вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А. Это вы прекратили ход поршня. Подымите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается десятью поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой; следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более двадцати фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор. Затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиною в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения.

Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота.

– Внимание! – услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чальсбери. – Открываю!

Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены, и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. В тот же момент я

почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы.

– Дайте свет! – крикнул лорд Чальсбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости.

– Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена, – говорил он возбужденно. – Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет. Верите вы теперь в мою задачу?

– Да, – ответил я горячо, с глубоким убеждением. – Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения.

– Но мы с вами пойдем дальше. Еще дальше! Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус двести семьдесят пять градусов, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до тысячи, двадцати, тридцати тысяч атмосфер. Мы заменим наши восьмидюймовые верхние лучесобиратели могучими пятидесятидюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы!.. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на один миллиметр влево, – и я буду безмерно счастлив. Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам, – сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку. Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чальсбери. Леди была в красном шелковом платье, и ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный

уголь. Де Мои де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мои де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводный ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних Ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен: он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами.

Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково-томными, из-под длинных опущенных ресниц, глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных серьезно-загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно! Она в этот вечер напомнила мне детскую игру: в чаше с водой плавают жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина. Но он был безмятежно весел и спокоен. После обеда, когда де Мои де Рик отпросился курить, леди Чальсбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет.

- Давайте сыграем в шахматы, – сказал он. – Вы играете?
- Неважно, но всегда с удовольствием.

– И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина. Он нажал кнопку звонка.

– По какому-нибудь поводу? – спросил я.

– Вы угадали. Потому, что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника, и если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела!

– О сэр!

– Погодите. Какой напиток вы больше всего предпочитаете?

– Мне, право, стыдно сознаться, что я ни в одном из них ничего не понимаю.

– Хорошо, в таком случае я назову вам четыре напитка, которые я люблю, и пятый, который я ненавижу. Бордосские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем шато-ля-роз. Почтенный Самбо, – приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю, – итак, бутылку шато-ля-роз.

Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях.

– Послушайте, дорогой Диббль, – сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. – И я и вы, конечно, много раз слышали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей, – кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника, – и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко, обаятельное, украшенное сединами и цветущее старческим румянцем, благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мои де Рик до сих пор ни на йоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найдстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что де Мои де Рик

находится в чрезвычайно тяжелом (только не в материальном смысле) положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слышал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Диббль, ваше мнение о нем. Этот неожиданный и неделикатный вопрос покорило и смутил меня; по правде сказать, я совсем не ожидал его.

– Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найдстон. Я увидел его впервые на борту парохода «Южный крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжение всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр: знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и... несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения.

– Так, мистер Диббль, так. Прекрасно, Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так. Иной характеристики я от вас почти и не ожидал. Но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению: открыть ли ему или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет два года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, денди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоеет пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника, и очень дорогого помощника, – это вопрос второстепенный, но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не

окажется болтуном, может быть, даже совершенно случайным болтуном.

– О, неужели вы этого боитесь, сэр?

– Говорю вам искренно – боюсь! Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики и мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец, я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже тысячи раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опозлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Диббль?

– Совершенно, сэр.

– Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю десять тысяч избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защечечут птицы, – в тот вечер я приобрету миллиард для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение, довериться ли мистеру де Мои де Рику или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении. Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором – верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Диббль?..

Мне напрашивался на язык простой ответ: «Отправьте завтра же этого Нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь». Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:

– Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле?

Лорд Чальсбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой:

– Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару.

В бильярдной мы увидели следующую картину. Де Мои де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чальсбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидел ее плачущей. Лорд Чальсбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мои де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом три часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски рассмеялся...

Все в мире самым странным образом сцепляется.

В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существования.

Первые два дня моего пребывания в Каямбэ для меня памятны до мелочей, но остальное, чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выела первые и последние страницы, а частью и середину. Но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак:

11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чальсбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела (причиной его вовсе не было мое праздное любопытство). Лорд Чальсбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно:

– Ведь вы знаете мистера Найдстона?

– Конечно, сэр.

– Не правда ли, прекрасный человек?

– Превосходный.

– И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист?

– Да, сэр. Но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу.

– Вы наблюдательны, мистер Диббль, – ответил учитель. – Да, так знайте же, что этот чудак вот уже в продолжение пятнадцати лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он лондонский стряпчий. Он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распорядиться его собственным капиталом, в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодры.

12 декабря. В первый раз лорд Чальсбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных рельс базальтовый окованный монолит в две тысячи пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на восемь часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя.

20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чальсбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он ни о чем не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая, по своему обыкновению, разговор, заговорил: – Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете. Ведь думать о счастье своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастье человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. «Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы.

3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мои де Риком отношения становятся холодными, почти враждебными.

Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает -21° , твердая углекислота плюс эфир – минус 80° , кислород -118° , испарение углекислоты – 130° , атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности.

Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересоваться мной. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность: он высок, худ, сутуловат в плечах; волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженной кверху; нос, вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастье будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся тойтерьеров. Но к учителю он относится – это я не только знаю, но чувствую всей душой – с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мои де Рик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им как человеком, и самым неприличным образом и именно в присутствии его жены пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть, и ревности.

Май. Да здравствуют три талантливых поляка – Врублевский, Ольшевский и Витковский и завершивший их опыты Дэвар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до -272° , и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на *целых пять миллиметров*. Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель.

26 июня. По-видимому, де Мои де Рик поверил в жидкое солнце, и теперь – уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере, сегодня за обедом он отличился удивительной

фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей. Я возразил, правда довольно грубо, на немецком языке:

– Так говорит прусский лейтенант.

Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно:

– Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании.

27 июня. Пишу впопыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до двух часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленьей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что слышал голоса.

– Зайдите же, дорогая Мери, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого? И каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?

Я тотчас же увидел их обоих при ярком, южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение!

– Но ваш товарищ... – робко произнесла леди Чальсбери.

– Какой же он мне товарищ? – беспечно рассмеялся де Мои де Рик. – Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в десять часов, чтобы проснуться в шесть. Мисс Мери, идемте, умоляю вас.

И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью.

28 июня, вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мои де Рику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно:

– Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в два часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой.

– Вы подглядывали, негодяй? – закричал де Мои де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью.

– Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэра, настоящий подлец и гадина.

– Вы заплатите мне за это кровью, с оружием в руках! – крикнул де Мои де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки.

– Нет, – твердо ответил я. – Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей, а второе, вот что: я нахожусь при деле огромной, мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз, в Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?

Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи.

– Я изобью вас, как собаку! – заревел он.

Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носу у него хлынула черная кровь. Я вышел.

29 июня. – Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мои де Рика? – вдруг спросил лорд Чальсбери.

– Кажется, ему нездоровится, – ответил я, внимательно глядя в землю.

Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было девять часов вечера, луна еще не восходила. Около нас стояли два негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник № 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы.

– Приготовьте шнур, – приказал лорд Чальсбери, – прокатите катушку вниз, я слишком устал и взволнован, поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо. И мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Диббль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами, во имя славы и радости будущего человечества, озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Алло! Зажгите стопин.

Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета, рядом последовательных взрывов, приблизительно около шести тысяч в секунду. И в тот же момент над нами вошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке.

А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал:

– Время горения одна минута одиннадцать секунд. Это настоящая победа, мистер Диббль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины.

А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чальсбери и мистер де Мои де Рик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито.

Лорд Чальсбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием:

– Ах, зачем они не сказали мне об этом, зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать.

Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает: чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания.

Около двадцати пяти дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва – все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбэ. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.

Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с безразличным спокойствием:

– Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдстон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.

Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:

– Дорогой сэр, я не оставляю вас ни на одну секунду.

Он обнял меня и поцеловал в лоб.

На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодичное жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбэ вниз, в долины. Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие

сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, – не то албанец, не то сибиряк, – долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», – сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:

– Я еду в Европу, мистер Петр.

– Все равно, и я с вами.

– Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.

– Знаю. Веревка. И однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастье людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста.

Я с изумлением и восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно неспособным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:

– Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.

Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями. Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал...

Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было беспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на

Каямбэ кювету № 216 и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.

– Не думайте, – говорил он, – что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряхлым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире – капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы... Нет, не хочу этого... Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! – вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.

– Что вас так тревожит, дорогой учитель? – спросил я.

– Видите ли, милый Генри... Я опасюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую...

Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу. Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.

– Что? – спрашивал лорд Чальсбери. – Вас ослепило?

– Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?

Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом (и от этого прикосновения, и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):

– Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас, и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета номер двадцать один «бэ» и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это

сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда, – и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. – Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза. В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее, зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила, мрачно-красное море, и тускло-пурпуровые тучи на небе, и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега.

– Пожар? – спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбэ, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии.

– Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает какая сила! И подумать только, что все это напрасно.

Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота:

– Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг, наденьте его сейчас же на себя, завяжите крепко под мышками, но не стесняйте дыхания; вот вам фляжка с коньяком, спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада, вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас «Гонзалес» будет опрокинут таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оплушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на двадцать, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас бог! Это все, что я могу вам

пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо... то мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен.

Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно:

– Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?

Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом, помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега, наоборот – с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку.

– Э! – воскликнул небрежно лорд Чальсбери и устало махнул рукой. – Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность – это вы, но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться – только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать, разве только, – и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой, – разве только раздать его неимущим Норфолькского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложения. О нет, дорогой друг, я не самоубийца; если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть, – он снял шляпу, и странно было мне видеть его развевающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые, печальные глаза и слышать его голос, звучавший, как органый хорал. – А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному богу, который да простит мне заблуждения моего слабого человеческого ума.

– Аминь, – сказал я.

Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким фантастическим великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной гаваны.

– Готовьтесь. Еще остается минута, две. Не трусите?

– Нет... Но экипаж, пассажиры!..

– Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй! Держитесь!.. Генри!..

Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу-пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым, пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало... и точно весь мир обрушился на палубу.

Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбацкой барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию. История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь благодаря щедрой доброте покойного лорда Чальсбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найдстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чальсбери.

Г. Диббль.

P. S. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною.

Г. Д.

Александр Степанович Грин

Львиный удар

I

Трайян только что вернулся с большого собрания Зурбаганской ложи всемирного теософического союза. Блестящее выступление Трайяна против Ордовы, сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его отточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим, стройным, как пламя свечи в безветрии, мировоззрением, – тысячи непоколебимых фактов, – лишили Ордову, под конец диспута, самообладания и твердости духа. Материализм, в лице Трайяна, получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных, а Трайян, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному, художественной работы камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями.

Хотя Ордова не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, интересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность – в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый-материалист Трайян обладал внешностью модного, балованного художника, в ее, так сказать, банальной транскрипции: пышный галстук, волосы черные и длинные, пышные, как и холеная борода; безукоризненной чистоты профиль, белая кожа; синий бархатный пиджак – впечатление одухотворенной изысканности; идеалист Ордова коротко стригся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине скверного готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда! Однако рассказ наш лежит не в шутке, и сравнение упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками – все, что мы можем себе позволить по этому поводу.

В кабинете, кроме Трайяна, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и любезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны... Лей был поклонником сражений, драки и

состязаний вообще, неизменно оставаясь, когда это не касалось патриотизма, сторонником победителя; бой петухов, тарантулов, быков, бой – диспут ученых – серьезно, увлекательно волновали Лея; он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки.

– Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо, – сказал Лей, – и я менее всего хотел бы быть на его месте.

– Он все-таки убежденный человек, – заметил Трайян, – и я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет.

– Ордова обезоружен.

– Да, я обезоружил его, но не покорил, что, впрочем, мне совершенно не нужно.

– Ордова крупный противник, – сказал Лей, – так как стоит на приятной, практически, для масс, точке зрения. «Я умираю, но я же и остаюсь», – какие великолепные перспективы!

– Он слабый противник, – возразил Трайян, – его заключения произвольны, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична; эрудиция, обнимающая небольшое количество старинных, более поэтических чем научных книг, достойна всякого сожаления. «Организм умирает, дух остается!» – вот все: вера, выраженная восклицанием; соответственно настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науки. Однако, таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением.

– Господин Ордова просит разрешения видеть вас! – сказал, появляясь в дверях, лакей.

Собеседники переглянулись; Трайян усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. Несколько мгновений Трайян молчал, обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным, как победителю, почтительное и серьезное отношение.

– Просите! – мягко сказал он и продолжал, подымаясь навстречу входившему Ордове: – Очень, очень мило с вашей стороны, что вы навели человека, искренне расположенного к вам, помимо всяких теорий. Садитесь, прошу вас. Ордова – генерал Лей.

Невзрачное, грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство.

– В этот поздний час, господин Трайян, – сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и свободным голосом, – я

пришел по немаловажному делу к вам лично.

Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Трайяну.

– Как лишний, я удаляюсь...

Но Трайян знаком остановил его.

– Не уходите, Лей, я не хотел бы секретов и, вообще, никакой таинственности.

– Извините, – сказал Ордова, – я пришел с коротким, практическим предложением, но такого рода, что намек на третье лицо был нелишним. Если генерал Лей находится в курсе вопросов, рассмотренных в сегодняшнем заседании и не состоит членом общества покровительства животным, – я без задержек перейду к делу.

– Вопрос идет о животном? – спросил Трайян, рассматривая Ордову в упор. – Однако я хотел бы избежать мистификации.

– Зачем? – искренно возразил Ордова, – когда можно обойтись без всякой мистификации!

– Я и генерал Лей слушаем вас, – коротко заявил Трайян.

Гость поклонился, и все сели; тогда Ордова заговорил:

– Для скептиков, людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных существует неотразимо повергающее их оружие – сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его сторона должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы, Трайян, быв очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении, – явить мужество признанием власти факта?

Трайян подумал и, не найдя в словах Ордовы ловушки, сказал:

– Приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием – да, мог бы, как ученый и человек.

– Хорошо, – продолжал Ордова, – то, что я изложу далее, не требует с вашей стороны возражений. Вы можете просто, в худшем случае, пропустить это мимо ушей. Внимательное изучение древних восточных авторов, подтвержденное собственными моими опытами, привело меня к убеждению в действительном существовании Духа живой Жизни, духовной основы всякого организма. Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того, чтобы освобождение, или исход Духа, произвело резкое впечатление

на присутствующих; какими путями совершается это, доньше нам неизвестно, во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным исхищением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе, – относится одно к одному так же, как взрыв пороха – к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случаях разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение, обращение в бесформенную материю. Вам, Трайян, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного, здорового льва; мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но, главным образом, в силу огромного количества невесомой таинственной энергии или Духа, заключенного в льве, как в носителе силы.

– Насколько я понял вас, – сказал Трайян, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости, – освобожденный дух льва будет доступен моим физическим чувствам?! Но как и в какой мере?

– Как – не знаю, – серьезно сказал Ордова, – но, ручаюсь, в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение восьмисотпудовый паровой молот; молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея; прошу лишь, после составления письменного акта о происшедшем, присоединить свою подпись.

– Согласен, – высокомерно сказал Трайян. – Лей, что вы думаете об этой истории?

Глаза Лея блеснули одушевлением и азартом.

– Я думаю... я думаю, – вскричал он, – что время до двенадцати часов полудня покажется мне тысячетлетней пыткой!

– Я жду вас, – сказал Ордова, прощаясь, затем, помолчав, прибавил: – Довольно трудно было найти льва, и я, кажется, немного переплатил за своего Регента. Я уйду. Не думайте о моих словах, как о шутке или безумстве.

Он вышел; когда дверь закрылась, Трайян сел за стол, уронил голову на руки и разразился истерическим, неудержимым, широким, страшным, гомерическим хохотом.

– Лев!.. – бросал он в редкие секунды затишья, – под паровым молотом!.. в лепешку!.. с хвостом и гривой!.. ведь этого не выдумаешь под страхом казни!.. О, Лей, Лей, как ни самоуверен Ордова, – все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно – для меня – жалким противником.

II

Лев, купленный Ордовой в зверинце Тоде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесной и прочной клетке к месту уничтожения около одиннадцати часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек, в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более, чем людей. Витрам ничего не знал о роковом будущем Регента. Он провожал его за плату, по приглашению, на загородный завод Трикатура; сидя на краю фуры автомобиля, он обращался время от времени к Регенту с ласковыми, одобрительными словами, на что лев отвечал раскатами короткого рева, подобного грому. Фура двигалась окольными улицами; во тьме плотно укутанной брезентовым чехлом клетки лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды, неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспламеняясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его, огненной силы, непокорное, мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе ровной, глухой тоской, лишенной всякого унижения, иногда отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясными, как забытый, но яркий сон, чувствами свободного прошлого.

– Еще немного потерпи, рыжий, – сказал Витрам, завидев через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым, – хотя, разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение.

Регент, зная по тону голоса, что Витрам обращается к нему, взревел на всю улицу.

– Сбрэндил, надо быть, какой-то состоятельный человек, – продолжал Витрам, – потянуло его к зоологии, вообразил он себя римским вельможей, из тех, что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов, и купил нашего Регента. Тебя, старик, посадят в саду, на видном месте, среди так знакомой тебе тропической зелени. Вечером над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна; толпа близоруких щеголей, взяв под ручку молодых женщин со старческой душой и косметическим телом, займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений, лап, мускулов, гривы...

Витрам умолк; лев рявкнул.

– А чем кормят львов? – осведомился шофер.

– Твоими ближними, – сказал Витрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал. Минуту спустя, фургон проезжал мимо рынка; запах сырого мяса заставил Регента круто метнуться в клетке, и все его большое, тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние, – лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу; но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а Витрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению.

Наконец, въехав в ворота, фургон остановился у закопченного кирпичного здания, и Витрам, спрыгнув, подошел к слегка бледному, но спокойному Ордове. Тут же стояли Трайян и генерал Лей.

– Регент приехал, – сказал Витрам, – и так как вы, кроме этого, рассчитывали на мое искусство, – то я к вашим услугам.

Трайян, находя свое положение несколько плутовым, молчал, решив ни во что не вмешиваться, но генерал выказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи парового молота.

Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвященного купола; из труб, слабо шипя, просачивался пахнувший железом и нефтью пар; молот был поднят, саженная площадь наковальни тускло блестела, подобно черной вечерней луже, огнем спущенных ламп.

Витрам еще не догадывался, в чем дело; он проворно развязывал веревки, снимал с клетки брезент; завод пустовал, так как был праздник, и привести молот в действие должен был сам Ордова.

– Как же, Трайян, – сказал Лей, – отнесетесь вы к антрепренеру Ордове, если его постигнет фиаско?

– Очень просто, – хмуро заявил Трайян, смотревший на молот с нетерпением и брезгливостью, – я ударю его по лицу за жестокость и дерзость. Неужели вы, умный человек, ждете успеха?

– А... как сказать?! – возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека. – Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Трайян: хочется иногда явлений диких, странных, редких, – случаев необъяснимых; и я буду очень разочарован, если ничего не случится.

– Ренегат! – шутливо сказал Трайян. – Вчера вы аплодировали мне, кажется, искренне.

– Вполне, подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы, теперь же, пока что – лев.

– Посмотрите на льва, – сказал подходя Ордова, – как нравится вам это животное?

Брезент спал. Регент стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко; могучая отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня; он шевельнулся, и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы; в страшной гриве за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка.

– Хорош, и жалко его, – серьезно сказал Трайян.

Лей молчал. Витрам хмуро смотрел на льва. Ордова подошел к молоту, двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами; массивная стальная громада, легко порхнув книзу и вверх, не коснувшись наковальни, снова остановилась вверху, темнея в глубине купола.

– Ну, Витрам, – сказал, ласково улыбаясь, Ордова, – вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается?

– Бывали послушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать, вообще он послушный зверь.

– Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите Регента взойти на эту наковальню.

– Зачем? – растерянно спросил Витрам, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания. – Льва на наковальню!?

– Вот именно! Однако не теряйтесь в догадках. Здесь происходит научный опыт. Лев будет убит молотом.

Витрам молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза Ордова, блестящие тихим, влажным светом непоколебимой уверенности.

– Слышишь, Регент, – сказал укротитель, – что приготовили для тебя в этом месте?

Не понимая его, но обеспокоенный нервным тоном, лев, с мордой, превращенной вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней, грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Трайян отвернулся. Витрам, дав утихнуть зверю, сказал:

– Я отказываюсь.

– Тысяча рублей, – отдельно произнес Ордова, – за исполнение сказанного.

– Я даже не слышал, что вы сказали, – ответил Витрам, – я думал сейчас о льве... Такого льва трудно, господа, встретить, более способного и умного льва...

– Три тысячи, – сказал Ордова, повышая голос, – это нужно мне, Витрам, очень, необходимо нужно.

Витрам в волнении обошел кругом клетки и закурил.

– Господа! Я человек бедный, – сказал он с мукой на лице, – но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел.

– Пять тысяч! – Ордова взял вялую руку Витрама и крепко пожал ее. – Решайтесь, милый. Пять тысяч очень хорошие деньги.

– Соблазн велик, – пробормотал укротитель, неподдельно презирая себя, когда, после короткого раздумья, остановился перед дверцей клетки с револьвером и хлыстом. – Регент, на эшафот! Прости старого друга!

Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и, обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился сажень в двух от молота. Трайян, желая избегнуть всякой возможности шарлатанства, тщательно осмотрелся. Он стал вдали от всяких предметов, машин и нагромождений железа под электрической лампой, ровно озарявшей вокруг него пустой, в радиусе не менее двадцати футов, усыпанный песком, каменный пол; Лей стоял рядом с Трайяном; оба осмотрели револьверы, предупредительно выставив их, на худой случай, дулом вперед.

Витрам, звякнув в полной тишине ожидания запорами и задвижками, открыл клетку.

– Регент! – повелительно сказал он. – Вперед, ближе сюда, марш! – Лев вышел решительными крутыми шагами, потягиваясь и подозрительно щурясь; Витрам взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне. – Сюда, сюда! – закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ленись повторить знакомое и скучное упражнение. Приказания укротителя становились все резче и повелительнее, он повторял их, бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами; и вот, решив отделаться, наконец, от докучного человека, Регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, зарывав вверх, откуда смотрела на него черная плоскость восьмисотпудовой тяжести, связанной с слабой рукой Ордовы крепкой веревкой.

Ордова качнул рычаг в тот момент, когда Витрам отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть разможжения Регента, и молот мигнул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание; в тот же момент толчок шумного, полного жалобных, стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей, и, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва, с лапами, вытянутыми для удара.

Все, кроме Ордовы, встали; затем подошли к Ордове. Кровь льва, подтекая с наковальни, мешалась с его кровью, хлещущей из разодранного смертельно горла; жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей, расплющенных секунду назад в бесформенное ничто.

Лев Иванович Гумилевский

Страна гипербореев

Загадочный спутник

Из Колы, направляясь в глубь полуострова, вышел 24 июня 1913 года топографический отряд. Отряд, состоявший из шести человек, намеревался обследовать течение реки Умбы, вытекающей, как не многим известно, из озера того же названия.

Никто из участников этой экспедиции не вернулся.

Для огромного большинства составителей карт точное местоположение реки и озера остается по-прежнему неизвестным. На всех просмотренных мной картах Кольский полуостров кажется в огромной своей части безводной пустыней, а на большинстве их загадочное озеро не означено вовсе, хотя величина его составляет не менее трети огромного Имандрского озера.

Об отряде не было получено никаких сведений. Ни обстоятельства гибели его, ни самое место трагедии не было никому известно. Однако никто из туземных жителей не сомневался в том, что топографы и их спутники погибли на пути к Острову Духов. Этот остров, о котором лопари говорят только днем, и то шепотом, находится в самой середине озера Умбы. Существует предание, в достоверности которого никто еще не решился усомниться, что всякий, пытавшийся переправиться с берега на остров, погибал в волнах Умбы.

Летом 1926 года, то есть тринадцать лет спустя, из той же Колы и совершенно по тому же направлению, имея целью своего путешествия также озеро Умбу, отправился другой отряд, хорошо снаряженный для путешествия, но состоявший всего лишь из двух человек. Одного из них, старого охотника с мурманского берега, Николая Васильевича Колгуева, в просторечии Колгуя, толпа зевак, провожавшая путешественников, знала так же хорошо, как и любого из соседей. Другой же не был известен обитателям Колы, а так как, кроме того, он лицом, манерами и поступками совершенно отличался от всех колычан, то и привлекал к себе всеобщее внимание.

Этому способствовало еще и то обстоятельство, что всего лишь за два дня до путешествия этот загадочный спутник Колгуя, искавший в городе проводника, поставил на ноги старого охотника, лежавшего две недели в постели, дав ему шесть горьких порошков неизвестного лекарства.

Местный врач за две недели перепробовал на больном все свои, правда ограниченные, средства, но не добился ни малейшего улучшения в положении Колгуя, называвшего свою болезнь просто лихорадкой. Тем большее удивление вызвал своим средством приезжий, получивший тогда же среди шептавшихся колычан почтенное наименование доктора. Впрочем, странному путешественнику, искавшему в Коле проводника до Умбы, действительно не чужды были врачебные познания. Во всяком случае, когда он от десятка обывателей услышал, что, кроме Колгуя, нет такой отпетой головы в городе, кто согласился бы идти на Умбу, приезжий не задумался отправиться к охотнику, хотя и был предупрежден о его несвоевременной болезни.

Колгуй, скрипевший зубами не столько от боли, сколько от злости на болезнь, уложившую его в постель, когда охотники бродили и дни и ночи с ружьем, добывая песцов и лисиц, посмотрел на гостя не очень приветливо.

– Проведете ли вы меня, – сказал тот на чистом русском языке, но с необычной для постоянно говорящего на этом языке старательностью выговаривая каждое слово, – до Умбы, если я вылечу вас?

Глубокие, но не старческие морщины на смуглом лице гостя и серые, почти бесцветные, но слишком глубокие и беспокоящие пристальностью взгляда глаза его и самая манера говорить с необычайной простотою, за которой чувствовалось достоинство, внушили больному доверие. Во всяком случае, необычного посетителя он не послал к черту, как это делал с другими, предлагавшими верные средства от болезни, хотя ответил не без резкости: Если вы меня поставите завтра на ноги, я послезавтра отведу вас не на Умбу, а на самый Остров Духов, если вы пожелаете. Лучше умереть у черта в лапах, чем на этих вонючих тряпках!

Он хлопнул исхудавшей ладонью по соломенному тюфяку так, как хлопал по рукам колычан, заключая какую-нибудь сделку.

Колычане знали, что слово Колгуя, подкрепленное рукопожатием, вернее писанных векселей.

Может быть, гость знал это, может быть, он догадался о том по одному взгляду на охотника, но он ответил тотчас же, коротко: – Хорошо, я вас вылечу!

Он не был ни знахарем, ни фокусником, ни чародеем, потому что с внимательностью и тщательностью, свойственной далеко не каждому врачу, он, осмотрев больного, расспросил его о всех малейших проявлениях болезни. Напав на какой-то след, он сам досказал Колгую все остальное с такою точностью, что можно было подумать, будто он все две недели не отходил от постели больного, наблюдая за ним. Только после этого он ушел и вернулся с багажной сумкой, из которой извлек те шесть порошков, которые поставили Колгуя на ноги.

Обитателям древнего города Колы, как я уже сказал, все это было известно. Вот почему чужеземный доктор, к тому же избравший целью своего путешествия столь рискованное место, как Умба с его Островом Духов, привлек всеобщее внимание.

Впрочем, улицы Колы не велики, а сытые лошади путешественников с такою охотой тронулись в путь, что маленький отряд не долго тешил своим видом зрителей.

Колгуй, еще бледный и худой, но сидевший на лошади с большей уверенностью, чем в постели, помахал шапкой на прощание приятелям, и отряд скрылся с плаз зевак.

Спутник Колгуя оказался человеком не очень разговорчивым. До вечера он только раз, когда, увязая до щиколотки в болоте, лошади шли шагом, открыл рот.

– Не рано ли пустились мы в путь? – сказал он, Впрочем, сейчас же добавляя: – Хотя вы, кажется, чувствуете себя хорошо!

– Я думаю, что нагуляю себе жиру скорее в дороге, чем дома! проворчал Колгуй.

Они пробирались вересковым кустарником. Бившиеся о колена коней вечнозеленые листья багульника издавали свой горько-пряный запах, и старый охотник оживал от аромата, точно не дышал, а пил кружку за кружкой колычанское пиво, сдобренное для крепости пьянящим настоем багульника. Кисти колокольчатых цветов андромеды веселили темно-зеленый ковер болота, но лошади пугливо

поднимали головы прочь от ядовитой листвы ее, торопясь выбраться из топи на твердую почву.

– Тогда будем спешить! – отозвался спутник Колгуя сурово и замолчал надолго.

Колгуй, выбравшись из болота, молча последовал его совету и погнал коней вперед.

Безлесная равнина расстилалась впереди на десяток верст. Суровые ветры здесь сжигают все, что поднимается выше слоя снега, прикрывающего землю зимою.

Низкорослый кустарник черники и брусники казался издали ровным луговым ковром.

Кони шли едва приметными и для острого глаза охотника тропинками. На сотни верст здешние дороги безлюдны, и Колгуй, привыкший, плутая в болотах и равнинах, молчать целыми днями, не очень тяготился молчаливостью своего спутника.

Однако на первом привале после полудневного пути и тряски, после сытного завтрака, запитого чашкой спирта, когда странный путешественник нетерпеливо поглядывал на щипавших траву лошадей, Колгуй не вытерпел.

– За каким, собственно говоря, дьяволом, – сказал он без всякой учтивости, законно исчезающей у людей среди диких равнин, не тронутых ногой человека, – несет нас, доктор, на Умбу?

Серые глаза доктора не оживились ни гневом, ни любопытством. Он ответил тихо и просто: – Для чего бы я стал тратить время и слова на объяснение того, что вам станет ясным и так через два дня?

– Дельно сказано, – смутившись, пробормотал Колгуй и вытянулся на траве, словно не желая продолжать так ловко оборванный разговор, но тут же добавил, как будто для себя одного: – Я не верю ни в бога, ни в черта, но без большой нужды я не потащился бы на этот остров... Я-таки отлично знал тех топографов, которые не вернулись оттуда...

– Оставаясь в постели, вы могли умереть несколько раньше, чем мы – доберемся до Острова Духов, – с едва заметной усмешкой ответил доктор.

– Что? Я разве отказываюсь идти с вами? – вскочил Колгуй.

– Я не говорил этого, – тихо заключил доктор.

Можно было подумать, что разговор утомлял его больше, чем седло. Колгуй замолчал и молча пошел к лошадям.

– Я думаю, мы отдохнули довольно? – проворчал он.

Доктор молча кивнул головой, и через минуту они снова продолжали свой путь.

Спокойный и ровный путь этот, то незаметной тропой пробиравшийся в зарослях кустарника, то шедший между каменных скал, покрытых ржавым мхом, то выходивший в степь, то опускавшийся в болотистые низины, длился до таинственных северных сумерек, незаметно сменивших летний день на белую ночь.

Колгуй уже начинал поглядывать вопросительно на своего спутника, помышляя об отдыхе, и тихонько приглядывался к укромным уголкам, когда тот вдруг придержал лошадь и обернулся к проводнику.

– Что это? – спросил он, кивая в сторону.

Белая, прозрачная ночь сияла над миром, как загадка: не было теней, не было источника света. Все казалось прозрачным, все чудилось освещенным откуда-то изнутри. И развалины каменной стены, возвышавшейся над низкою порослью карликовых берез, были видны издалека.

Колгуй весело воскликнул: – То, что нам нужно для ночлега, доктор. Мы не могли бы и желать здесь лучшего...

– Что это такое? – повторил тот, не замечая болтовни охотника. Жилище?

– Да, иногда в них живут лопари... Я думаю, что им по тысяче лет, и те, кто их строил, были посильнее нас... Лабиринты – называли их топографы.

– Хорошо, мы ночуем там! – вдруг согласился тот и, круто повернув с дороги, направился к дряхлым камням с такою поспешностью, что Колгуй с недоумением погнал за ним свою лошадь, не понимая, откуда вдруг появилась в докторе такая охота к ночлегу и отдыху.

Тот, кому случилось забираться в глубь Кольского полуострова, встречал, конечно, как и Колгуй, исколесивший его во всех направлениях, среди зарослей карликовой березы и стелющейся по земле ивы необычайные каменные лабиринты, где лопари, остающиеся до сих пор язычниками, приносят жертвенных животных своим сердитым богам.

Стены этих странных построек невысоки. Они сложены из огромных камней, заставляющих вспоминать о великанах, которым одним только под силу могли быть подобные сооружения. Внутренность этих построек представляет собою ряд переплетающихся между собою ходами и выходами каменных коридоров. Они, кружась, в конце концов выходят к центру лабиринта, где водружен тяжкий, как скала, каменный очаг.

Обычно вокруг этих построек ютятся в своих оленьих чумах лопари, стекающиеся сюда на суд шамана по множеству своих семейных, житейских и оленьих дел. Иногда стены лабиринта, прикрытые земляной крышей, обращаются ими в постоянные жилища. Однако, глядя на низкорослых, заеденных холодом, голодом, вшами и нуждой обитателей циклопических построек, невозможно предположить, что они сами, деды их или прадеды строили эти угрюмые дворы, заставляющие вспоминать о каменном веке земли.

Казавшийся издали бесформенной грудой камней лабиринт, привлекающий внимание доктора, был брошенный на лето храм отправившихся к морю за рыбою лопарей. Колгуй, несколько удивленный поспешностью своего спутника, с которой тот направился в сторону мелькнувшей в зарослях постройки, признал в нем, кроме того, первый храм, лежавший на пути к Умбе.

Он спокойно последовал за доктором, спрыгнул, как и тот, с лошади, но вместо того чтобы броситься, как он, с необычайным проворством и волнением к заплесневелым камням, спокойно поймал лошадь своего спутника и вместе со своею пустил их на пышную и свежую траву, а затем, с удовольствием разминая ноги после седла, вернулся к нему.

– Мы на верном пути, – сказал он, – мы идем к Умбе, как по компасу. Завтра к вечеру мы встретим еще такой лабиринт, доктор! И послезавтра будем на Умбе!

Человек, не назвавший своего имени до сих пор и откликавшийся на признательное именование его доктором, стоял неподвижно, скрестив на груди руки, возле стены.

На фоне огромных камней, ничем не скрепленных друг с другом, но тяжестью своею связанных крепче, чем цементом, он был сам похож на каменное изваяние. Высокий и крепкий, запечатанный в кожаное пальто, отсвечивавшее в ночи шлифованным мрамором, он почудился старому охотнику выходцем из другого мира.

И Колгуй вздрогнул, когда тот, не поворачивая головы, сказал со спокойной уверенностью: – Да, мы идем по верному пути!

В тот же миг, точно разбуженный от своей задумчивости собственной речью, он перебрался через стену, доходившую ему, до груди. Это движение отогнало страданный призрак статуи, почудившийся Колгую, и он, встряхнувшись и оправляясь от минутного замешательства, крикнул сердито: – Послушайте, доктор! Если вы знаете не хуже меня верный путь до Умбы, так на кой черт вы взяли с собой проводника?!

Вызывающий тон заставил странного – путешественника поднять голову. Доктор посмотрел на Колгую, но так, точно не видел его, и пояснил тихо: – Я говорю не о том пути, о котором говорили вы.

– Что же, по-вашему, тут две дороги?

– Да, и каждый идет по своей!

Колгуй, бормоча себе под нос, посоветовал черту разобраться во всем этом деле и направился к лошадям.

Когда он вернулся в лабиринт к очагу, долго путаясь в каменных коридорах с кошмами, одеялами, ужином и кожаными мешками доктора, туго набитыми не очень легким багажом, тот уже спокойно ожидал его.

Когда же все было разложено и ночлег приготовлен, к удивлению старого охотника, его спутник сам первый открыл рот.

– Вы сказали, что завтра к вечеру будет еще одно такое же сооружение? – спросил он.

– Да, – подтвердил Колгуй, – это будет один из самых больших и самых важных храмов. Он стоит на берегу Умбы, и туда приплывают лопари, отправляясь в море, чтобы заручиться согласием своих болванов и шамана... Там, я думаю, под залог наших лошадей, которые тем временем отдохнут для обратного пути, если, конечно,

нам придется возвращаться, под залог лошадей мы достанем какую-нибудь посудину, чтобы выйти на озеро...

Он замялся, потом решительно досказал: – Ну, и на Остров Духов, разумеется, если вы думаете в самом деле побывать там!

– Да, мы переправимся туда! – коротко сообщил доктор.

– Стало быть, я верно догадался, что лодку нам добывать придется.

Колгуй охотно стал бы продолжать завязавшийся не по его почину разговор, но собеседник его, устало кивнув головой вместо ответа, уже заворачивался в шерстяное одеяло.

Колгуй не без досады улегся поблизости. Он не спал ночь, слушая лошадей, готовый подняться при малейшей тревоге. Поглядывая на своего спутника, он имел возможность не раз заметить, что и тот, погруженный в забытие, не спал, но отдыхал в какой-то особенной, каменной неподвижности.

Он откликнулся ранним утром на зов Колгуя тотчас же и встал со свежим, спокойным лицом, на котором нельзя было заметить ни малейших следов сна, делающих измятыми и серыми лица всех колычан.

Во всем этом не было ничего загадочного и таинственного. Однако, приготовив лошадей и трогаясь в путь, старый охотник искоса посмотрел на своего спутника, и во взгляде этом можно было прочесть далекое и смутное подозрение.

Впрочем, за весь день пути до самого вечера не было никаких новых поводов для того, чтобы подозрение это выросло. Наоборот, уступая ли ласковой настойчивости солнца, старавшегося расплавить и смягчить каменную неподвижность изваянного лица доктора, отравляясь ли пьянящим ароматом багульника, загадочный спутник Колгуя не без удовольствия оглядывался по сторонам и не раз сам заговаривал со своим проводником о посторонних вещах.

Несомненно также, что если не радость, то заметное удовлетворение скользнуло по его лицу, когда, уверенно плутая по невидимым тропам и дорогам, Колгуй выбрался на полянку к каменному лабиринту, возле которого было раскинуто с полдюжины лопарских чумов. Осматривая каменные стены издали, доктор оживленно спросил: – Долго ли плыть до озера по реке?

– Пустяки, – ответил Колгуй, – до реки два шага отсюда, а лабиринт у самого истока реки...

– А до острова?

– Не плавал, – отрезал Колгуй, – не знаю. Только с берега озера можно видеть остров, если нет тумана над водой. Я не совал своего носа в дела островных чертей, но если я сяду в весла, так доставлю туда вас не дольше, как за час работы...

– И столько же, чтоб вернуться назад? – с улыбкой спросил тот.

– Если мы выберемся обратно, я доставлю лодку назад, вероятно, за полчаса! – пробурчал Колгуй.

– Посмотрим, – просто заметил доктор, и впервые старому охотнику показалось, что все рассказы об Острове Духов были по меньшей мере преувеличены.

Можно с уверенностью сказать, что Колгуй был первым из всех колычан, кто усомнился в достоверности известного предания, как верно и то, что он был первым, кто вскоре затем мог убедиться, что сказки об Острове Духов рассказывались не зря.

Впрочем, в тот момент ему некогда было думать об этом. Доктор бросил ему на руки поводья и немедленно отправился плутать по коридорам лабиринта, пробираясь к очагу. Колгуй же, устроив лошадей на попечение скалившего зубы лопаря, отправился бродить из одного чума в другой, расспрашивая о том, каковы были уловы рыбы, и осторожно осведомляясь, нельзя ли добыть к утру лодку.

Лодка нашлась, сделка после осмотра лошадей состоялась к обоюдному удовольствию. Однако старый, подмигивающий единственным глазом лопарь был заметно разочарован, когда на ехидный вопрос его – «не собирается ли охотник со своим товарищем отправиться на Остров Духов» – Колгуй сурово ответил: – Как раз наоборот. Мы хотим спуститься вниз.

– А, – вздохнул лопарь, – конечно! Вы получите своих лошадей, когда захотите.

Доктор был доволен своим проводником. Он не только поблагодарил его, но уверил с улыбкой: – Несомненно, что мы вернемся назад так же благополучно, как прибыли сюда, благодаря вашей опытности, ловкости, знанию и заботливости.

– Если бы вы были не только доктором, но и колдуном, я и тогда бы подождал до послезавтра вам верить! – проворчал Колгуй.

Остров Духов

Жители Севера не избалованы судьбою. Упорная и тяжелая вечная борьба с угрюмой природою приучила их думать, что путь к счастью загроможден препятствиями. И, как всякий истый северянин, Колгуй видел в сцеплении удач скорее угрозу, чем благополучие. Поэтому он с большим удовольствием отчалил бы от берега в дырявом челноке, чем в просмоленной рыбацкой лодке, к тому же оказавшейся изумительно легкой на ходу.

Делать, однако, было нечего, и со вздохом он взялся за весла, которые не подавали ни малейшей надежды на то, что не разлетятся вдребезги, если он ударит ими о подводный камень.

Все шло как нельзя лучше. Солнце разогнало туман с воды прежде, чем они выбрались по реке в озеро. Скалистый остров посредине его предстал перед ними в прозрачной дали с такою четкостью и голубоватая поверхность воды была так спокойна, что и последняя надежда Колгуя на опасность плавания исчезла. Ему ничего не оставалось, как покориться. Он закрыл глаза и налег на весла.

Лодка понеслась стрелою.

Каменистый берег острова, где скалы, как маяки, не давали никакой возможности уклониться от взятого направления, вырисовывался вдали все с большей и большей четкостью. Он же и придавал острову характер дикости, необитаемости. Крутые каменные обрывы, легко принимаемые издали за искусственно сложенные крепостные стены, охраняли остров с такой неприступностью, что в самом деле начинало казаться, что остров не мог быть жилищем человека.

Загадочный спутник Колгуя, стоя на носу лодки, спокойно смотрел вдаль. Он был недвижим, он не произнес еще ни одного слова после того, как они выбрались из узкого истока реки на озеро. Колгуй, увлекаясь увеличивавшейся, скоростью лодки, работал крепкими веслами без боязни их обломать. Он мгновениями начинал забывать о своих страхах: трудно в самом деле представить себе свору чертей, нападающих на путников среди веселого утра на голубом озере, к тому же спокойном, как совесть новорожденного ребенка.

И вдруг неожиданный шелест за его спиной, движения, колебавшие лодку, заставили его, подняв весла, оглянуться назад, на своего спутника. Доктора не было.

Вместо него в лодке стоял высокий индус в шелковом шелестящем халате, отливавшем на солнце всеми цветами радуги. Белая чалма была глубоко надвинута на лоб, и, когда на крик Колгуя индус оглянулся, старый охотник не сразу признал в нем своего спутника.

Тот улыбнулся, сказал тихо: – Что вы кричите?

Тогда Колгуй оправился от испуга.

Он опустил весла, но проворчал сердито: – Если вы хотите распугать здешних чертей этим балахоном, так не мудрено испугаться и мне. Я не слышал, как вы одевались.

– Это единственное средство быть принятым за гостя, а не за врага, заметил доктор.

– Может быть, вы и на меня напялите что-нибудь вроде этого?

– Нет. Вы останетесь у лодки и не пойдете на остров. Я не могу позволить этого...

– Что за черт, – вспыхнул Колгуй, – не собираетесь ли вы и там распоряжаться?

– Я боюсь, что вы не справитесь за час, как обещали, если мы будем продолжать наш разговор, – сказал доктор, прекращая беседу и всматриваясь в даль.

Колгуй, выругавшись про себя, принялся грести со злостью. Это придавало ему новые силы. Лодка шла ровно и мерно, вздрагивая от удара весел. Если бы Колгуй мог и имел охоту понаблюдать за своим спутником, он, вероятно, не раз бы имел повод для того, чтобы, вскинув весла, обратиться к доктору за объяснениями.

Но он не оглядывался. Доктор же, стоя на носу, вглядываясь вперед, поднял высоко руки, точно приветствовал кого-то, стоявшего на берегу. Были ли у него необычайно зорки глаза или он, не глядя даже на берег, не сомневался в том, что обитатели острова наблюдают за дерзкими путешественниками, выжидая удобной минуты, чтобы их погубить, но он не ошибался.

Когда Колгуй, отыскивая подходящее место для причала, оглянулся на берег, он также увидел бородатых, спокойных людей, стоявших на скале. Их было шестеро.

Несомненно, они были вооружены, хотя оружие их было незнакомо Колгую. То были копья, мечи и луки. Однако они не изъясляли ни малейшей готовности вступить в бой с дерзкими пришельцами. Наоборот, своим маскарадом доктор как будто расположил их к себе настолько, что, когда лодка ткнулась в береговую крошечную бухточку, образованную ложиной между двух каменных скал, вооруженные люди немедленно двинулись навстречу прибывшему гостю.

Доктор продолжал стоять на лодке, ожидая их. Они спустились со скалы с проворством и ловкостью людей, привыкших бродить по обрывистому берегу. Тогда, снова приветствуя их поднятыми руками, обращенными ладонями к приветствуемым, точно показывая, что в руках гостя не спрятан камень или какое-нибудь оружие, доктор произнес несколько слов на неведомом старому охотнику языке.

Обитатели острова молчали. Доктор повторил то же на ином языке, и тогда странные люди закивали головами и стали ему отвечать.

Колгуй разглядывал собеседников своего странного спутника в немом изумлении. Они не были похожи ни на чертей, ни на духов. Это были упитанные, сильные люди с хорошо развитыми мускулами. Черты их лиц были резки и не очень правильны. Яркие цветные рубахи, длинные, до колен, прикрывали стройные фигуры. На одном из них, должно быть старшем в отряде, был накинут синий шерстяной плащ. Откинув его, чтобы освободить правую руку для ответного приветствия, он обратился к доктору с короткой, как показалось Колгую, почтительной речью.

Доктор ответил на нее. Когда предварительные переговоры были окончены, доктор обернулся к своему проводнику и предупредил сухо: – Вы не должны покидать лодки ни на минуту. По закону жителей острова, всякий, кто ступит ногою на их землю, становится жителем их страны и рабом и должен будет подчиняться их законам. Главнейший же закон их заключается в том, что никто, раз ступивший на остров, не может его покинуть... Вы понимаете, в чем дело?

– Если бы я даже и забыл о топографах, так мне не нужно было бы долго объяснять этого. А вы, доктор?

– Я пойду с ними и вернусь ночью.

– А закон?

– Они сделают для меня исключение. Я поручусь за вас, чтобы освободить береговую стражу от обязанности следить за вами...

– Да уж лучше, если они уберутся отсюда, чтоб не мешать мне выспаться за две ночи...

Доктор вышел из лодки. Начальник береговой стражи вновь приветствовал его, затем окружил своими воинами, очевидно для почета, и все они двинулись по ложине в глубину острова.

Старый охотник, покачивая головою, не без сожаления посмотрел им вслед. Он не сомневался в ловкости доктора, которому, конечно, удастся вырваться от этих людей, но сам предпочел бы не только не покидать лодки, но и носом ее не касаться земли, а стоять поодаль на воде.

Нельзя сказать, чтобы Колгуй не был охвачен любопытством. Еще рискуя только жизнью, он, может быть, и отправился бы на остров приглядеться поближе к его странным обитателям. Но, считая свободу свою и независимость ценностью более существенной, чем жизнь, он не стал бы рисковать этими вещами даже и в том случае, если бы обитатели острова оказались бесплотными духами. К тому же, чувствуя себя связанным с доктором обязанностями проводника, он и подумать не мог о том, чтобы оставить его без своих услуг.

Поэтому, оглядев издали угрюмые скалы, утесы и обрывы каменного берега, Колгуй спокойно подчинился своей участи. Он устроил на дне лодки постель, прикрылся, как пологом, одеялом от солнца и растянулся с удовольствием путешественника, сделавшего добрую половину своего пути. Так как никто и ничто не нуждалось теперь в его охране, он спокойно заснул в тот же миг.

Две бессонные ночи и утомительный путь в седле на покачивающихся лошадках сделали свое дело: старый охотник спал как убитый весь день. Может быть, он проспал бы и до утра, если бы привычка спать настороже не заставила его очнуться от странного покачивания лодки и шороха шагов пробиравшегося к нему человека.

Колгуй открыл глаза, но не пошевелился, обманывая крадущегося врага своим спокойствием. Одеяло, прикрывавшее его от солнца, тихонько приподнималось.

Прежде всего Колгуй увидел в прозрачных сумерках белой ночи руку, державшую край одеяла. Это была узкая длинная белая рука с тонкими пальцами, украшенными кольцами. Несомненно, это была

женская рука, и Колгуй отказался от мысли, блеснувшей у него в первый момент, схватить эту руку и сошвырнуть человека в воду.

Наоборот, он приподнялся тихо, чтобы не испугать женщину, и даже пробормотал что-то вроде извинения, скидывая с себя полог.

В лодке в самом деле была женщина. Даже и в сумерках белой ночи можно было заметить, что она принадлежала к обитателям таинственного острова. Черты лица ее были правильны и четки. Она была не молода, но красива. Широкий плащ стеснял ее движения, но не мешал угадывать под ним ее сильную, стройную фигуру.

Колгуй приподнялся и сел на скамью, готовясь вступить в разговор с неожиданной и довольно-таки приятной гостьей. Но она, смутившись на мгновение, тотчас же вынула из складок плаща какой-то сверток и, протянув его Колгую, сказала глухо: – Возьми и прочти после.

Старый охотник принял подарок, свистнув от удивления. Родной язык в устах этой женщины звучал самой странной вещью из всех виденных им до этого времени.

Он раскрыл было рот спросить, что это за штука, но женщина с кошачьим проворством и ловкостью уже выбиралась из лодки.

– Эге, погоди, красавица! В чем дело? – крикнул он, стараясь схватить ее за конец плаща в помощь не действовавшему на нее окрику.

Прежде чем он мог, однако, сделать это, женщина уже была на берегу. Крики Колгуя только подгоняли ее, и через минуту раздувавшиеся на быстром ходу полы плаща ее уже казались смутною тенью, падавшей от прибрежных скал в лощину.

Колгуй выругался, сплюнул в воду и стал рассматривать неожиданный подарок. Это был свернутый в трубку тончайший пергамент, развернув который Колгуй, к окончательному своему изумлению, увидел рукопись.

Вглядевшись в строчки и мелкие корявые буквы, он был потрясен еще более: это были русские буквы и русские слова.

Ошеломленный неожиданным открытием, Колгуй забыл о последнем слове женщины и немедленно принялся за чтение. И при свете дня он был не большим грамотеем, в сумерки же белой ночи рукопись пришлось разбирать, как ребус.

Тем не менее ему удалось прочесть вот это.

Гипербореи

«Кто может поверить мне и кто не сочтет эти записки бредом сошедшего с ума человека?»

Я один из тех шести несчастных, кто был в топографическом отряде, вышедшем летом 1913 года на юго-восток из Колы с целью точного определения местонахождения реки и озера Умбы и обследования всей центральной части полуострова, остающегося и до сих пор никем не исследованным. Кто бы мог предположить, что никто не вернется из нас назад, и кто бы из нас поверил в тот яркий, солнечный день, что в трехстах верстах от Колы, в глуши лесных чащ, среди незамерзающего озера есть этот страшный, загадочный остров, прозванный лопарями Островом Духов?

Кто б мог поверить, что предание об этом острове ближе к правде, чем то проклятое веселье и шутки, с которыми мы переправились сюда с берега озера?

Я не сомневаюсь, что через несколько дней меня постигнет участь моих товарищей. Пять мучительных лет, каждую весну происходит одно и то же. Жрецы бросают жребий, чтобы узнать, кого требуют боги в жертву, и вот пять лет подряд жребий при помощи непостижимых их жульнических уловок неизменно падал на одного из нас. Приближается шестая весна, из шести остаюсь я один.

Разве можно ошибиться в предсказании, кого нынче пожелают избрать боги?

Это буду я. Они берегут своих людей, они дрожат над каждым человеком, потому что это вымирающие люди.

На острове насчитывают не больше двух сотен жителей.

Но у них почти нет молодежи, почти не видно детей...

Их женщины бесплодны, и я думаю, что девушка, ставшая моей женою, пришла ко мне по наущению этих седобородых жрецов, которые, кажется, живут по двести лет.

Шесть лет мы пасем с нею тонкорунных овец, и я видел, как, уча меня их языку, год за годом она сближалась со мной. Жалость к обреченному пленнику породила в ней ко мне настоящую, не то материнскую, не то женскую любовь.

Она привязалась ко мне, и только вчера я взял с нее клятву, что она отдаст мое завещание первому чужеземцу, которому удастся уйти с острова.

Я научил ее говорить по-русски: „Возьми и прочти после“. И с этими словами она передаст эту рукопись тому счастливцу, который придет и уйдет отсюда.

Кто это будет? Когда это будет? И будет ли? И не предаст ли она меня после смерти?

Нет, они соблюдают клятвы, если уж дали их. Но до чего трудно было добиться ее обещания!

Кто эти люди, населяющие остров? Их язык напоминает мне тот школьный латинский язык, за который я неизменно получал в гимназии колы и двойки. В их нравах и обычаях есть многое, заставляющее вспоминать не то римлян или греков, не то египтян... И в то время как за полтысячи верст отсюда люди летают на аэропланах, ездят на автомобилях, здесь каждое утро собираются в священную рощу потомки какого-то тысячелетнего народа славить солнце... Оно, или божество, являющееся его олицетворением, называется Апуллом, может быть, это искаженное Аполлон? Не знаю. Ему оказываются величайшие почести, и именно ему в жертву приносят ежегодно одного из обитателей острова на жертвеннике, помещающемся в таком же каменном лабиринте, которых с полдюжины мы встретили на несчастном пути сюда и в которых там живут лопари, а здесь...

А черт с ними – умереть лучше, чем чувствовать себя здесь рабом живых покойников.

В этой прекрасной роще, посвященной Апуллу, стоит тот самый шарообразный храм, который мы увидели с берега еще... И не я ли первый тогда настаивал на том, чтобы пойти посмотреть на эту штуку, когда некоторые из нас уже трусили и хотели удрать назад!

Этот храм украшен множеством приношений. Теперь там лежат и наш германский теодолит, и все инструменты. Я видел там кремневое ружье, два допотопных револьвера и старинный бульдог: очевидно, не мы первые добрались сюда и, боюсь, не мы последние не вернемся отсюда.

Тут все жители старшего возраста – жрецы божества. А большинство обитателей острова – кифаристы. Это нечто вроде

наших гуслей или цитры. Они могут петь и играть целыми днями во славу своего божества... Да и нечего им больше делать.

Они выращивают на своих полях что-то похожее на пшеницу в таком количестве, что пресного хлеба им хватает на всех. Едят они к тому же не по-нашему. Кусочек сыра из овечьего молока и две лепешки, испеченные на раскаленных камнях, да кружка молока – вот все, чем они живы. По-моему, они вымирают просто от тоски и скуки. Еще летом ничего: и работа и роща – все развлечение... Но эти зимы, когда они уходят в каменные щели, живут в камне, спят на камнях... Это ужасно. Женщины ткут свои плащи и рубахи из тончайшей шерсти овец, которых я пасу... А мужчины положительно как медведи в берлоге: редко кто долбит на камне какую-нибудь надпись или трудится над шкурой, чтобы выделать вот такую тончайшую кожицу, на которой я могу писать.

Чудные люди!

Сколько раз мы умоляли главного их жреца и царя – Бореада, чтобы позволено было уйти нам. Разве они отпустят таких выгодных рабов, как мы! Бежать отсюда невозможно. До берега не доплыть никому. Озеро, как наша Екатерининская гавань на Коле, никогда не замерзает... Соорудить же хоть плотишко какой-нибудь нельзя, когда за тобой следят каждую минуту. Я пишу это только потому, что связал клятвой мою подругу... Но сколько мук принимает она, охраняя меня от чужих глаз и предупреждая о всякой опасности.

Спасибо и на том. Женщины! Нет, всегда и всюду они одинаковы.

Моя подруга, мне кажется, готова считать меня даже за самого Аварида, проживающего инкогнито среди них.

Она надеется, что жребий не упадет на меня... Недаром же до сих пор я счастливо избегал этой участи.

Дело в том, что по существующему среди гипербореев преданию какой-то гиперборей Аварид тысячи полторы лет тому назад отправился куда-то путешествовать и пообещал вернуться... До сих пор о нем нет ни слуху ни духу. Бореад, царствовавший в то время, отправил с ним десять свитков папируса, в которых изложена история этого странного народа. Предки его были выходцы из Египта, и, застряв здесь, потомки еще не теряют надежды этими папирусами списаться со своими родственниками. Только найдется ли где-нибудь человек, который разберется в их иероглифах?

Это трудновато, хотя понять их язык легче. Ведь у них, как это ни странно, есть чисто русские слова: „береза“, например, и значит – береза, а напишут такими каракульками, что не понять. Много слов, какие слышал я у лопарей. Может быть, и наши лопари им родственники, только те одичали и все забыли, а эти дрожат над своею культурой и так цепляются за свое, что и еще тысяча лет пройдет – ничего здесь не переменится.

Аварид – тот умер и исчез, конечно, но папирусы гденибудь хранятся. Один из моих товарищей помогал старшему жрецу работать над выделкой пергамента и узнал от него, что Аварид направился через Кавказ. Мы долго думали об этом путешественнике и решили, что он направился в Индию... Где-нибудь в Лхасе во дворце далайламы лежат эти папирусы, которые могли бы нас выручить из беды, если бы пришло кому-нибудь на ум разобрать их.

Но говорят, туда европейцев не пускают даже.

Аварид же пропадает тысячу лет, и только косоглазые гипербореи могут верить в его возвращение... Во всяком случае, до сих пор он не вернулся еще, но они ждут его постоянно. Это он не велел им переступать границы острова, и они свято блюдут этот закон, в ловушку которого попали и мы. Я думаю, что они дождутся какого-нибудь умного человека, который явится вместо этого Аварида и уничтожит закон...

Впрочем, едва ли кому-нибудь от этого большая радость. Если им показать автомобиль или аэроплан, они подохнут от страха... И что делать этим живым покойникам за чертой своей страны?

Меня же уже не спасти никакому Авариду.

День жребия приближается, и уверенность моей подруги едва ли поможет мне. Перехитрить жрецов невозможно. Пять лет наблюдаю я их и не могу разгадать фокуса, при помощи которого они заставляют вынимать жребий того, кто заранее для этого назначен.

Впрочем, повторяю, лучше подохнуть, чем жить в этой могиле, да еще на правах раба. Я буду рад уже и тому, что моя подруга сдержит свою клятву, и тем или иным путем эта рукопись дойдет до сведения живых, настоящих людей, которые рано или поздно превратят этот остров в музей и будут мне благодарными за то, что...»

Шум шагов, звон оружия, ропот глухих голосов заставили Колгуя торопливо спрятать недочитанную рукопись.

На фоне багрового неба силуэты доктора и окружавшей его толпы вычертились необычайно отчетливо. Они спускались к берегу неторопливо и важно, сопровождая почетного гостя.

Колгуй встал, разглядывая странных людей, о которых повествовал на пергаменте несчастный топограф.

Старый охотник, ошеломленный прочитанным, чувствовал себя, как во сне. Только спокойный вид доктора удержал его от немедленного бегства, но и это не помешало ему осторожно вытянуть со дна лодки старую, верную двустволку, опершись на которую поджидал он конца своего жуткого сна.

Доктор, облаченный все в тот же отливавший на солнце всеми цветами радуги шелковый халат, сошел первым на берег. Седобородые жрецы окружали его.

Длинные плащи, свисавшие с их плеч, придавали им величественность. За ними стояли мужчины более молодые. Среди них находилось несколько воинов. Сзади толпились женщины. Детей не было видно вовсе, хотя не было никакого сомнения, что на проводы доктора стеклось почти все население острова.

Прощальные речи гостя и провожавших были не длинны. Они были прослушаны в благоговейном молчании окружавших.

Когда доктор направился к лодке, жрецы затянули унылую песню. Может быть, это был гимн солнцу. Его немедленно подхватили все мужчины и женщины.

Доктор ступил на нос лодки и поднял руки для приветствия. Колгуй облегченно вздохнул: конец сна приближался, и сверху всякого вероятия он не мог не быть благополучным. Старый охотник оперся веслом о берег, готовый по малейшему знаку доктора оттолкнуться и погнать лодку прочь.

И вдруг в ту же минуту, прерывая стройное пение отчаянным стоном, женщина в синем плаще вырвалась из толпы и, нарушая благочиние, бросилась на колени перед седобородым жрецом. Она в безумном волнении рассказывала что-то, махая руками, о чем-то просила, чего-то требовала.

Колгуй замер. Он узнал ее.

Доктор с недоумением слушал крики женщины, потом обернулся к Колгую.

– Разве вы выходили на берег?

– Нет! – буркнул он.

– Что требует от вас эта женщина?

– Не знаю.

Жрецы приблизились. Доктор перемолвился с ними и тотчас же снова оплянул на своего проводника.

– Что вам дала эта женщина?

– Бумажку какую-то...

– Отдайте ее назад, если не хотите остаться здесь навсегда...

Колгуй вынул скомканный пергамент и передал его доктору. Тот, не взглянув на него, вручил его жрецам.

Старший из них принял его спокойно, не глядя на Колгуя, который бормотал себе под нос нелестную для него ругань.

Женщина, нарушившая порядок, вернулась в толпу подруг. Они только изумленно отстранились от нее, но продолжали петь, не смея ни одним несоответствующим жестом или словом оскорбить солнечное божество, поднимавшееся над их головами. Колгуй счел минуту подходящей и, предупредив доктора, оттолкнулся от берега с огромной силою, с которой мог сравниться разве только гнев, душивший его.

Он взялся за весла. Лодка понеслась по зеркальной поверхности озера с невероятной быстротою, и скоро уже стройный гимн доносился с берега, как далекое эхо.

Дымящийся туман, как розовая вата, легко надвигаясь на остров, скрыл и самих певцов.

Доктор опустил на скамью.

Колгуй насторожился, полагая, что тот немедленно потребует от проводника объяснений всему происшедшему. Но странный путешественник не нарушил ни словом привычного молчания. Он снял свой костюм, уложил его в кожаный мешок спокойно и аккуратно. Под халатом на ремнях оказался фотографический аппарат. Доктор снял и его, уложив в тот же мешок. Затем, отдаваясь во власть теплого утра, он блаженно закрыл глаза и поднял лицо свое так, чтобы косые лучи солнца без помехи могли жечь его.

Колгуй не выдержал этого спокойствия.

– Я думаю, доктор, вы не пойдете со мной на спор против того, что будущей весной божество потребует в жертву к себе именно эту женщину? воскликнул он, готовый насладиться изумлением своего спутника.

Но тот не открыл даже глаз, хотя счел нужным спокойно подтвердить: Вероятно, жребий падет на нее.

Колгуй со злостью налег на весла, вымещая гнев на воде, омывавшей проклятый остров, так как не имел ничего другого под руками для той же цели.

– Что же, вы так-таки и оставите все это?

– А что бы вы хотели предпринять?

Он открыл глаза и посмотрел на своего проводника не без любопытства. Это подействовало на того, как поощрение.

– Как что? – закричал он, хлеща воду веслами со страстью и злобой. Как что? Надо рассказать об этом, людей созвать... В газетах напечатать...

– Зачем? – холодно спросил тот.

– Как зачем? Чтобы все знали...

Серые глаза доктора впились в Колгуя с насмешливой ласковостью, но тут же погасли и затянулись, стали непроницаемо покойны и холодны.

– Не все ли равно, – серьезно и строго, не спрашивая и не отвечая, промолвил доктор, – не все ли равно, будут ли люди знать немножко больше или немножко меньше...

Колгуй сжал губы и замолчал. Каменное спокойствие его спутника было непреодолимо. От него веяло холодом тысячелетних лабиринтов, и в первый раз сорвалось с губ охотника резкое слово.

– Да кто вы такой, черт возьми? – крикнул он.

– Путешественник, – просто ответил тот.

– Откуда вы приехали?

– Из Индии.

– Зачем?

– Чтобы проверить, существует ли еще древний род гипербореев.

Простота и точность ответов обезоружили Колгуя. Он притих.

– Откуда вы знали, что они существуют?

– Из наших книг.

– И вы никому не объявите о том, что видели?

– Только тем, кто меня послал сюда.

– А я?

– Вы можете поступать так, как вам угодно.

Колгуй замолчал, налег на весла и больше уже не возвращался к прерванному разговору.

Он не обманул своего спутника – обратный путь до реки и по реке до тропинки, по которой можно было подняться до чума лопаря, взявшего на себя заботу о лошадях, они совершили скорее, чем путь прямой – отсюда до острова.

Целодневный отдых на острове сделал свое дело. Сменив лодку на лошадей, Колгуй охотно согласился со своим спутником немедленно продолжать путь.

Этот обратный путь совершался с не меньшим благополучием, но в большем молчании. Доктор положительно не открывал рта, тем более что и проводник его на этот раз не очень тяготился молчанием.

Старый охотник чувствовал себя необычно. Он был погружен в трудное и непривычное занятие: аи думал.

С тяжестью и неуклюжестью мельничных жерновов перемалывал он в молчаливой задумчивости все происшедшее. И только когда эта мучительная работа подходила к концу, он прервал молчание и тихо спросил доктора: – Так вы, может быть, из Лхасы, от самой далайламы притащились сюда, доктор?

– Нет, – спокойно ответил тот, – я из Тадж-Магала, близ Агры, из Индии...

– Это там нашли вы папирусы?

– Да, – коротко подтвердил он.

– И позвольте уже узнать, – продолжал допытываться Колгуй, вспоминая рукопись, читанную им в лодке, – какой черт помог вам разобраться в том, что там было накорезано?

– Сравнительное языковедение, – просто, точно говоря о ночлеге, ответил доктор. – Я не знал, – с улыбкой добавил он, – что вы не дремали в лодке, а успели основательно познакомиться с пергаментом, который вручила вам женщина.

– Да уж поверьте, что я знаю теперь ненамного меньше, чем вы, доктор! Есть-таки у меня много нового, о чем можно будет поболтать за кружкой пива.

– Но вы не знаете самого главного!

– Чего же это?

– Того, что ничто не ново под луной!

И снова погрузились спутники в молчание, и снова зашевелил жерновами своего мозга Колгуй, впрочем, ненадолго так как путь их уже приближался к концу.

Маленький отряд вернулся в Колу поздней ночью, и надо сказать, что только это обстоятельство спасло путешественников от шумной встречи и выражений крайнего изумления по поводу их благополучного возвращения.

Только расставаясь со своим проводником, доктор точно пришел в себя и с большою учтивостью засвидетельствовал Колгую свою признательность крепким и теплым рукопожатием. Это растрогало старого охотника настолько, что он решился было снова возобновить разговор о гипербореях.

Однако доктор и на этот раз остался последователем индийской мудрости.

Он не изменил ей и впоследствии. Именно потому-то повесть о Стране гипербореев и становится известней читателю из третьих рук.

Альфред Петрович Хейдок

Храм снов

Из найденного дневника прапорщика Рязанцева

1

Провинция Син-цзян, 1921 г., числа не знаю – потерял счет дням... Как я обрадовался, обнаружив на дне вещевого мешка свой дневник! Я считал его давно потерянным. Теперь он мне очень нужен, потому что заменяет собою здравомыслящего человека, которому можно все высказать, тем более что меня окружают полусумасшедшие, какие-то жуткие «обломки» людей, которых жизнь раздавила так же, как чудовищный танк – раненных в бою.

Правда, переплетенная в кожу тетрадь молчит, но она полна трезвых рассуждений, которыми я делился с нею раньше, и ее молчание напоминает разумного человека, который хотя и не говорит, но уже своим видом успокаивает. И как много нужно записать!.. Я совершил большую ошибку, что бежал вместе с Кострецовым из концентрационного лагеря войск атамана Анненкова, интернированных в китайском Туркестане! Прежде, чем приглашать Кострецова в товарищи по бегству, мне следовало бы подумать, что скрывается за его невозмутимым хладнокровием в бою и спокойными профессорскими манерами. Теперь я знаю: это – безразличие к жизни и какое-то барское нежелание напрягаться...

Но нельзя и слишком упрекать себя: Кострецов – высокообразованный человек – изучал восточные языки, до войны занимался археологией и даже посещал в составе научной экспедиции те же места, по которым лежал наш путь... Чем не товарищ?

Бежать из лагеря было легко – нас почти не охраняли, – но вот теперь, в результате этого бегства, я сомневаюсь, что когда-либо покину эти проклятые развалины; боюсь, что придется кончить так же, как на моих глазах кончали другие...

Мне как-то дико сознавать, что отклонение от намеченного нами пути было вызвано простым обломком камня, на который я же и

предложил Кострецова сесть отдохнуть!.. Это произошло на унылой дороге, в безлюдной местности, на пятый день пути.

Кострецов сел было, но, посмотрев на камень, торопливо стал сбивать с него мох каблуком.

– Смотрите! Ибис^[7]...священная птица древних египтян! – воскликнул он в волнении, указывая на расчищенное место.

– Да, действительно, похоже на птицу с длинным клювом, – сказал я, разглядывая высеченный на камне знак. Но почему ей не быть журавлем?

– Журавлем? – воскликнул Кострецов, – журавлей не высекают вместе с изображениями полумесяца и диска... Только Тот, лунный бог египтян, удостоивается этих знаков... Его же называют Измерителем, мужем божественной Маат... Греки отождествляли его с Гермесом Трисмегистом... Гармахис, Бакхатет...

Имена богов и демонов в фантастическом танце заплясали вокруг меня, пока я упорно раздумывал, – на что они мне и ему, людям без родины и денег, которым больше всего следовало бы задумываться о целостности своих сапог и о своих тощих животных.

Кострецов вдруг оборвал свою речь и задумчиво произнес:

– Всегда так: когда ищешь – не находишь, а когда не ищешь – приходит... Дикая случайность!..

И тут же, немного подумав, он заявил, что дальше не пойдет: ему, видите ли, нужно произвести тут кое-какие исследования, ибо знак ибиса в Китайском Туркестане как раз подтверждает вывод, к которому он пришел в Египте, занимаясь раскопками... Само собою разумеется, он не может посягать на мою свободу и отнюдь не требует, чтобы я тоже оставался. Чтобы облегчить мое дальнейшее одиночное путешествие, он просит меня принять часть имеющихся у него денег...

Пока он говорил, разительная перемена совершалась на моих глазах: этот человек, с которым я прошел такой длительный путь ужаса, страданий белого движения, с которым проводил бессонные ночи в партизанских засадах, мерз и голодал, делясь последним, – этот человек превращался в чужого, страшно далекого от меня незнакомца, кому моя дружба и присутствие сделались излишними... Боль и досада – вот, что я ощутил!

– Знаешь! – сказал я ему немножко хрипло, – оставь свои деньги при себе и знай, что для меня (я сделал ударение на «меня») не существует таких неотложных дел, ради которых приходилось бы бросать старого товарища черт знает где!.. Пусть это делают другие, а я...я остаюсь, пока не кончатся твои... как бишь? – изыскания!

Мои слова подействовали: Кострецов сказал, что он, может быть, не так выразился, как следовало между друзьями... Но он очень благодарен мне за мое решение... Пока что он воздержится от объяснения, потому что изыскания могут еще ничего не дать, и тогда он попадет в смешное положение... Но если получится хоть какой-нибудь результат, он все объяснит!

– А теперь... – тут он достал из сумки какой-то мелко исписанный листок и, посмотрев его, простер руку на юг, – нам придется свернуть вот куда!

Велико же было мое удивление, когда, пройдя некоторое расстояние в сторону, я убедился, что идем мы по еле заметной тропе или, вернее говоря, по слабым следам людей и животных.

– Да, это так – мы на пути! – уверенно кивнул мне Кострецов, заметив мое удивление.

Первые проведенные в дороге сутки выяснили, что мы не единственные, движущиеся в этом направлении: перед самым закатом нам попался пожилой сарт. Помню, когда я вглядывался в него, у меня невольно возникла мысль, что более совершенно выраженного страдания я не видел ни на чьем лице. А приходилось мне видеть немало трепещущих жизней, которые извивались под вонзающимися в них когтями смерти... Но в тех больше было мучительного страха! Здесь же, напротив, эти эмоции совершенно отсутствовали, оставив место лишь придавленности, безысходному горю и такому отчаянию, которому человек уже не в силах помочь...

Странно: Кострецов, так же пристально, как и я, разглядывающий путника, торжествующе выпрямился, и, точно получив какое-то подтверждение своим догадкам, уверенно бросил мне: – Я еще раз говорю:

мы на правильном пути!.. Второго путника или, вернее говоря, группу путников, я видел ночью. Кострецов крепко спал, но я сквозь сон слышал пошамкивание, какое время от времени издает усталый верблюд.

Мы спали среди камней, возле дороги. Осторожно приподнявшись на локтях, я выставил голову ровно настолько, чтобы видеть. Светила Луна, и на меня тотчас же упала черная тень женщины, восседавшей на верблюде. Ее сопровождали двое пеших погонщиков, которых я не мог хорошо разглядеть. Но зато ее я рассмотрел...

Девушка или женщина – я не знаю, – по своему типу не напоминала ни одной из знакомых мне восточных народностей; она была красива какою-то надломленною красотой, в которой усматривалась трагическая обреченность.

И опять та же печать невыносимого страдания на лице, какую я уже видел в этот день!

– По этой дороге идут только печали и... мы! – прошептал я испуганно и поспешил уткнуться в жесткую землю, чтобы уснуть.

2

По мере дальнейшего продвижения все безрадостней становилась местность; исчезли холмики, овражки, редкие кустарники, отсутствовали и животные, которые до сих пор иногда оживляли пейзаж. Словно между двумя жерновами мы шли по безотрадной земле, придавленные сверху холодным велением неба. Великий Художник, сотворивший прелестнейшие уголки земного рая, – Тот Самый, Кто даже пустынные полярные моря покрыл плавающими сооружениями из голубоватого льда причудливых форм и стилей, – здесь бессильно охваченный усталостью и внезапной тоскою, молча прошел эту равнину, даже не подумав коснуться ее могущественным резцом...

И все-таки на ней оказалось кое-что. Оно вынырнуло в знойном трепетании воздуха, окрашенное далью в призрачные цвета марева:

длинный, низкий холм, пологий с обоих концов и почти горизонтальный сверху. Гигантская выпуклость равнины с почти геометрически-правильными линиями, синяя от толщи разделяющего нас воздуха, она застыла, как грудь великана, внезапно приподнятая воздухом.

По мере приближения к холму мною овладело мучительное чувство, что на этом пьедестале чего-то не хватает... Я силился придумать, чего именно не доставало, пока ясно не ощутил, что тут должен находиться храм...

Да, да, языческий храм какому-то страшно одинокому духу земли, ищущему уединения, где мог бы он, никем не тревожимый, возлежать облаком и из века в век жадно прислушиваться к шепоту Космоса, полного далекого гуда рождающихся и погибающих миров...

Я почти видел этот храм: овальное основание, колоннада со всех сторон:

плоская крыша без всяких щипцов и башенок, – только зубчатый карниз; весь он сосуд, отверзший небу, ухо земли!

Лишь поздно вечером дотащились мы до холма, и тут, надо сказать, он меня изрядно разочаровал: изрытый морщинами, с несколькими пятнами коекак возделанной земли и жалкими мазанками, меж которых виднелось что-то, похожее на кумирню, ветхую, как сама смерть, он поражал дикой затхлостью. Но там и сям валялись обломки циклопической постройки – стало быть, тут раньше был храм!

У полуразрушенных ворот кумирни спал вратарь, пропустивший нас с самым безразличным видом.

Не встретив во дворе ни одной души, мы сами устроились на ночлег в одной из пустовавших глиняных мазанок.

– Теперь я знаю, мы пришли! – сказал Вострецов, разглядывая перед сном тот же исписанный листок, по которому справлялся раньше.

Я хотел спросить, куда мы пришли, но адская усталость буквально валила меня с ног, и я решил задать этот вопрос завтра.

Я проспал не больше часа, а потом проснулся, мучимый то ли клопами, то ли переутомлением, превратившимся в тягучую бессонницу.

Первое, что я заметил, было отсутствие Кострецова. Помаявшись еще с полчаса, я встал, решив осмотреть кумирню при лунном свете.

Проскользнув несколько закоулков между мазанками и небольшую площадку перед самой кумирней, я смело шагнул в настежь открытую дверь.

Лившийся в решетчатые без стекол окна свет дробился на потрескавшихся изображениях позолоченных богов и переливался в струйках золотистой цепи. Мне бросилось в глаза, что статуи богов имели скорее египетский, чем монгольский разрез глаз и были значительно монументальнее, нежели мне приходилось встречать в других кумирнях. Традиционный треножник, где сжигаются бумажные курительные свечи, еще распространял слабый аромат. Но последний не в силах был преодолеть затхлости этой ветхой постройки – она определенно отдавала брошенным амбаром.

Неожиданно я вздрогнул: с косяка узенькой дверцы на меня глядело желтое изможденное лицо живого человека в одеянии монаха. Вглядевшись, я убедился, что он дремал, сидя в резном кресле перед столиком, на который посетители обыкновенно кладут подношения.

Лежащий перед ним на подносе русский золотой навел меня на мысль, что здесь, быть может, проходил Кострецов.

На цыпочках я шмыгнул мимо дремавшего монаха и очутился в другом помещении, слабо освещенном древним светильником. По углам дымились курильницы, и дым от них свивался в причудливые клубы под потолком.

Под его кольшущимся покровом с дюжину человек спали прямо на полу.

Между ними я сейчас же узнал женщину, чья тень покрыла меня ночью, когда я находился на дороге скорби... Но теперь всякий след страдания исчез с ее лица; оно дышало экстазом подлинного счастья; полураскрытый рот буквально ждал поцелуя, и задор, обнявшийся с улыбкой, витал на губах...

В конце ряда невозмутимых мужских лиц, лежала старушка с идиотски-блаженным лицом, а за ней – Кострецов.

Я сел рядом с погруженным в сон спутником и задумался: что значит все это?

Совершенно неожиданно моя задумчивость перешла в легкую, приятную дрему. Я примостился поудобнее и увидел сон.

Он начался резким гудком паровоза, таким неожиданным, что я даже испугался...

Суета на вокзале... На перроне полно народа – негде поместиться... Все – русские... Несут без конца баулы, чемоданы, корзинки. Носильщики в помятых картузах и запачканных передниках катят тележки с багажом.

Тележки скрипят, визжат, носильщики переругиваются – никак не проедешь... Гам, смех, веселая толкотня... Ничего не могу разобрать, где я, что такое творится...

– Скажите, пожалуйста, – обращаюсь я к бородатому человеку купеческой складки, в картузе и поддевке, у которого все лицо – сплошное благодушие и радость, – куда же весь этот народ едет?

– Как куда? – удивляется он. – С луны вы свалились?.. Домой – в Россию едем! Большевиков прогнали – всей нашей маяте конец пришел... Можно сказать, народ так обрадовался, так обрадовался... Митровна, – обращается он к жене, – куда же Митюха, пострел, убеги? Поезд-то подходит... как бы малец под паровоз не угодил... Митюха! – громко гудит его мощный голос на всю платформу.

Я стою, опешивши, а потом спохватываюсь: ведь правда, в самом деле!

Люди сказали... Надо и мне обратно, в Тамбовскую губернию!

А тут, смотрю – однополчанин!.. Ротный командир Коваленко с полуупреком, полуусмешкой машет мне из толпы рукою и говорит немножко с прононсом:

– Что же вы, прапорщик, здесь стоите? От своего эшелона вздумали отстать, а? – А потом, все больше расплываясь в неудержимой улыбке, указывает рукою: – Вот тут, на запасных путях наш эшелон стоит. Все наши в сборе, только вас не хватает!.. Ну, ну не жмите так сильно руку; в ней ведь осколок застрял... конечно, понимаю... чувства, – а сам так и сжимает мою руку, точно клещами...

Я борюсь с внезапно охватившим меня сомнением... Ведь штабс-капитана Коваленко на моих глазах снарядом в бою убило... Но сомнение уступает очевидности, тем более что глаз, вдруг приобретший необыкновенную зоркость, стал охватывать чудовищные пространства – чуть ли не вся Русь родимая как на ладони! Вот в сибирских снегах и метелях, впереди хмурой рати мелькнул орлиный

профиль адмирала Колчака; вот поодаль – брат-атаман Анненков с казаками, а еще дальше, где-то в стороне, пробивая путь к родной земле, – «сумрачный» боец, барон Унгерн фон Штернберг ведет свою кавалерию на монгольских лошадках и грозно помахивает ташуром... Еще другие – живые и мертвые, шкурники и герои, – все спешат возвратиться... А тут, рядом, на веером раскинувшихся запасных путях – эшелоны, без конца эшелоны... И все вагоны украшены зелеными березками; на оружейных лафетах – венки; звуки дюжины гармоник и веселого солдатского трепака несутся со всех сторон...

– Вот, посмотри! – говорит Коваленко, указывая в другую сторону, во-он пароходы!

И действительно, я увидел голубые моря, вспененные винтами мощных гигантов, выбрасывающих тучи дыма...

– Все беженцы, как один человек, с разных стран на родину едут, ликующе добавил Коваленко. – И жизнь же теперь будет!

Я ничего не успеваю ответить, потому что слышу еще один голос, зовущий меня... Это – Нина! Ну, как я ее не заметил, если она тоже здесь!

Свежая, румяная, точно сейчас выкупали ее в утренней росе, с блестящими глазами, в том же светлом платье, которое было на ней в день расставания, два года тому назад, она еще раз перекрикивает весь этот гам:

– Андрюша!

Мчусь к ней, схватываю ее за руки и... неожиданно выпаливаю:

– Нина... а мне передавали, что ты в мое отсутствие с комиссаром сошлась... наших предавала!..

– И ты поверил? – она звонко хохочет. – Ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха, – начинаю я тоже хохотать. Хохот, наполовину истерический, сотрясает все мое существо, в сонном видении происходят какие-то непонятные сдвиги; платформа со всеми пассажирами поднимается на воздух, над поездами, а последние проваливаются в какую-то плубь...

Кто-то трясет меня...

Открыв глаза, увидел Кострецова. Он старался меня успокоить:

– Тише!.. Ты уже разбудил меня, еще и других разбудишь! – шептал он над моим ухом.

Когда я окончательно пришел в себя, он спросил:

– Что тебе приснилось?

Волнуясь, я начал было рассказывать, но Кострецов увлек меня на паперть храма, сказав на ходу, что в том месте, где мы только что спали, всякий шум мог причинить страдания людям, уже немало пострадавшим. Молча он выслушал мой рассказ, временами кивая головой, точно соглашаясь: так, мол, должно быть...

– Что же это все значит? Куда мы, наконец, пришли? – закончил я вопросом. Кострецов уселся в нишу и совсем скрылся в тени. Одно время я видел только огонек его папиросы, а затем ко мне стали долетать слова:

– ... Мы в храме Снов... Это невероятно, но... разве один из нас уже не удостоился видения, доведшего его до радостной истерики? Мы – первые европейцы, посетившие это место...

На мысль о существовании такого храма он натолкнулся в Египте, расшифровывая почти выветрившуюся надпись на камне... В ней имелись указания на поклонников Тота, лунного бога, которые в ущерб солнечному Ра образовали отдельную секту, за что были изгнаны фараоном...

Изгнанники удалились в страну, которая, судя по смутным данным, могла быть лишь нынешним Китайским Туркестаном. Здесь они соорудили храм, привлекавший паломников со всех концов мира, ибо все страждущие и обиженные судьбой могли видеть в нем сны, в которых воплощались все их желания и восстанавливалось утраченное счастье...

– Стало быть, обломки на холме – от этого сооружения? – перебил его я.

– Да, таинственные вихри, бросавшие полчища народов Азии на другие страны, смели это сооружение, но... снести стены еще не значит уничтожить храм! И, мне кажется, что он, хотя и в других формах, будет существовать, пока существует человеческое страдание... «Земная жизнь объята снами», процитировал он Тютчева, – разница лишь в том, что в остальном мире всяк грезит где попало и как попало, а здесь монахи подсыпают в курительницы

какую-то особо ароматную траву... В глухих уголках пустыни и даже в населенных городах некоторые колдуны и знахари знают дорогу, обозначенную знаками ибиса – птицы Тота, и направляют сюда тех, кому не по силам бремя жизни... Вот почему кроме нас здесь оказались и другие посетители...

Он оборвал речь: из мрака, сгустившегося в затененной стороне храма, вынырнули две фигуры, таща на руках третью. Луна на миг озарила лицо этой, третьей, фигуры – то была маленькая, сморщенная старушка с идиотски-блаженным выражением лица, и было очевидно, что старушка перестала жить...

– Радость убивает! – после короткого молчания донесся до меня торжественный голос Кострецова. Его папироска вспыхнула сильнее по-видимому, он усиленно затягивался.

Охваченный жутью, я помолчал несколько секунд, а затем обрушился на Кострецова торопливыми вопросами:

– Для чего нам все это? Какую пользу, в конце концов, можно извлечь из нашего открытия? Что же мы должны предпринять?

– Абсолютно ничего! – был спокойный ответ, – объявлять во всеуслышание о нашем открытии не следует – нас могут счесть за ловких выдумщиков; кроме того, сны – не участок нефтеносной земли и сулят мало барышей! – он презрительно захохотал.

– Мы еще побудем здесь, а затем навсегда покинем это место!

– Почему бы нам не сделать этого завтра? Кострецов замаялся и заговорил, путаясь, сбивчиво...

Оказывается, мой истерический хохот оборвал его сновидение, как бы сказать, накануне какого-то откровения, которое могло бы пролить свет на его прошлые ошибки... Он увидел бы ее, эту проклятую жизнь, каковой она могла бы быть, если бы... Одним словом, счастье, которого он хотел достичь, только начав жить, в сонном видении буйно стало осуществляться. Отказать себе в продолжении он в данный момент не в силах...

Светало. Один за другим покидали храм утомленные видениями люди. Среди них, шатаясь, с полузакрытыми глазами, прошла девушка, и на меня опять упала ее тень...

Мое сердце сжалось, томимое предчувствием, что все это неспроста и имеет какое-то конечное предназначение.

Уже целая неделя проведена здесь... В кумирню прибыл сарт, которого мы обогнали по дороге. Прошлой ночью я видел его среди спящих в храме, куда хожу каждую ночь, увлекаемый жутким любопытством и, кажется, еще другим чувством...

За это время монахи вынесли еще два трупа – жертв нечеловеческой радости, которая убивает. Их бросают в овраг, где днем и ночью грызутся шакалы. При приближении к ним шакалы разбегаются во все стороны, и тогда кажется, что на дне оврага серо-бурый, копошащийся спрут выпускает свои щупальца, которые по мере удаления рассыпаются в одиночных шакалов.

Кострецов и не думает уходить: он почти не разговаривает со мною, а спит среди бела дня, чтобы набраться сил для ожидающего его ночью счастья, и страшно худеет... Я уверен, что его тоже скоро вынесут молчаливые служители так же, как и других, но ничего не могу с ним сделать! Кроме того, меня удерживает здесь еще другое обстоятельство: я, конечно, не грежу в храме, как другие, а захожу туда лишь на несколько минут, стараясь не поддаваться дьявольским чарам, но я умираю от тоски, видя, что эта девушка – ее зовут Зелла – медленно убивает себя на моих глазах и ничуть не поддается уговорам покинуть это место.

Как. она не понимает, что ее лицо – самое прелестное для меня видение в мире!.. Чувствую, что без нее не уйду, или... или это кончится хуже...

Она – дочь бежавшего с каторги русского, который обосновался в Бухаре и женился там на туземке. Она получила образование в России, где, после смерти отца, вышла замуж за одного из тех, кого теперь называют врагами народа... Муж расстрелян; она томилась в подвалах ЧК, затем власть имущие, соблазнившись ее привлекательностью, передавали ее друг другу, или, вернее сказать, вырывали один у другого... Она испытала величайшее унижение женщины, ставшей вещью, и теперь ничему не верит... Хотя... третьего дня, когда я как полусумасшедший стоял перед нею и лепетал бессвязные слова о моем желании весь век употребить на лечение ран, нанесенных ей жизнью, ничего не требуя взамен, лишь

бы она жила, тихое участие появилось в ее глазах, и она ласково провела рукой по моим волосам... Но, тем не менее, она упорно повторяла – нет!

Два дня спустя.

Кончилось одно – начинается другое... Кострецов сегодня утром не явился домой... Я спросил о нем монаха – тот многозначительно махнул рукой по направлению к оврагу, где шакалы заботятся о погребении мертвых. Неизбежный конец всех, кто приобщился к таинственным чарам сна, заставляет меня действовать.

Я употребил весь остаток средств на покупку у монахов провизии, приспособил под кладь верблюда Зеллы, который до сих пор одиноко бродил у подножия холма. Я сосчитал патроны: их было семь в гнездах барабана. Наган может пригодиться, потому что сегодня, до наступления ночи, я силою увезу Зеллу, а путь не безопасен: в пустыне появились грабители. О них рассказал сегодня утром до нитки обобраный пилигрим.

Чувствую себя изумительно хорошо; у меня есть ясная цель! Труба жизни гремит в моих ушах!

Я еще заставлю Зеллу полюбить милую землю и все сущее на ней, в том числе, может быть, и... прапорщика Рязанцева!

* * *

Дневник Рязанцева подобран мною на путях беженцев, по пустыням и дебрям устремившихся во все закоулки мира.

На том месте, где я его нашел, лежало много человеческих костей и кости одного верблюда. Вероятно, все семь пуль прапорщику очень пригодились...

Один скелет был небольшой. Судя по дневниковым записям, он мог принадлежать Зелле.

Тут же валялась фуражка российского военного образца, аккуратно пробитая пулей. Глядя на нее, я наполнился диким восторгом: как хорошо он умирал за жизнь!

Велимир Хлебников

Утес из будущего

Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.

Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.

Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точно по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.

Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море.

Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром – лебедь этих времен.

На крылечках здания сидят люди – боги спокойной мысли.

– Второе море сегодня безоблачно.

– Да! Великий учитель равенства, второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать.

Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности, вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.

– Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпал нас курганами.

Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум точно простыней.

Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из

костей.

Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека – небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.

Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Снять одежды – понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце – это значит дать день искусственной ночи своего государства; перестроить струны государства, большого ящика звенящих проволок, по звукам солнечного лада.

Не надо быть Аракчеевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.

С другой стороны:

– С вами спички еды?

– Давайте, закурим снедать.

– Сладкий дым? Клейма Гзи-Гзи?

– Да, они дальнего происхождения из материка А.

Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.

Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.

Впрочем, уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не забывая военного устава, – часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.

Счастье людей – вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.

Оно – слабый месяц около земель вокруг солнца, коровьих глаз нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.

Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семи голосов. Проще говоря, ось вращения. Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи.

Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.

Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.

Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.

Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.

И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.

Закон множеств царил в этой бочке сельдей больших городов. Туго набитая человеческая селедка принимала очертания своих соседей. Сосед давил соседа в этом могучем бочонке, полном небоскребов, и на боку одной сельди, быстро носившейся с бумагами по городу, выдавливалась худая с острой хищной челюстью голова ее соседа.

Я узнавал своих знакомых, выдавленных под мышками быстро пробежавшего молодого человека: там они ухитрились отпечатать свои лица. И вообразите: на одной пятке оказалось отпечатанным лицо одной прехорошенькой девушки. Не удивительно, что я любил идти сзади и следить за мелькающей пяткой и смеющейся головкой девушки на ней. Итак, закон бочонка работал над населением города, туго набитого духовными селедками *a* зелеными вытянутыми лицами

и впальми глазами. Странное дело: туловища этих людей торопились, спешили по улицам, бегали по делам, в то время как рядом громадно и неподвижно, с мертво-раскрытым ртом, лежали их души страшной тяжестью, оправдывая слова одного мудреца: «Не надо светописца, не надо художника там, где теснота: роковым образом вы оставите ваше лицо в его зрачках, на голенище его сапог, на рукаве локтя. Это зовется законом сельди больших городов». Но вообразите прекрасный лоб мыслителя, узнающего свое лицо на пятке пробегающего мальчишки!

Он остановится в недоумении на углу улицы и долго будет махать палкой! На большие здания, с золотыми прямоугольными ночными очами, надвигался первобытный лес другой правды. Дикий, прекрасный лес новых видений надвигался на человечество, лес сновидений, недоступный старому железу. Уравнения нравов, уравнения смерти, сверкающим почерком висели в воздухе среди больших улиц. Скитаться среди огромных стволов. Хвататься за невидимые суки воздушных деревьев, вставших среди города. Одиноким зверем в множестве листьев скользить среди стволов второго мира, дремучей чащей обступившего первый. Люди стали хитры и осторожны и, бессильные победить судьбы всего мира, стали относиться к ней как к мертвой природе.

Грибок жрецов, ведущих куда-то милостью чисел по закону рождения, быстро опутывал человечество, и слова их проповеди звучали набатом дальнего пылающего храма. Шест сетки был у меня. «Хорошо! – подумал я, – теперь я одинокий игрок, а остальные – весь большой ночной город, пылающий огнями, – зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы – лицедеями». – Эти бесконечные толпы города я – подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель, выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелено-черных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, все говорило: час близок!

Недаром пришли эти божества – мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами на свидание с небесными лицами Италии. Вернее –

это черные мотыльки уселись на белые цветы лица. Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек или сломанный в нескольких местах колос.

Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простилая с художником и ушел.

Лысый мерин через синее прясло глядит – хорошо, а? Так на море во время учебной стрельбы сначала блестит огонь, потом доносятся раскаты выстрела и наконец, долго спустя, подымается столб воды – весть того, что ядро долетело.

– Ну, что же это? что же это? – воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши. – Боже, как гупо! боже, как гупо! В самом деле на Западе северные откосы Монблана, с большого плоскогорья черным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше – стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали летчики, и сурковые тени в черных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и черные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с черной водой. Это была голова Гаяваты, высеченная на северных склонах Монблана, вырезанная ножом великана художника.

В знак единства человеческого рода Новый свет поставил этот камень на утесах старого материка, а взамен этого, как подарок Старого света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.

Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.

– Этой каменной живописи натянуты паруса взаимности между обоими материками, – заметил Смурд.

– Паруса из множества людских сердец.

– Не правда ли, хороши эти пласты острого каменного угля, обработанные в черные глаза пророка? Говорят, что пастухи по ночам жгут из пламенной руды свои голубые костры, и тогда его глаза

блещут гневом. Между тем столетние сосны были раскинуты на разных высотах лица.

– Боже, как глупо! Зачем портить природу? – недоумевала Бэзи.

– Если горы вторят гулким раскатом, отчего не искать каменных созвучий лицу?

– Друзья, знаете что, проведемте ночь на поверхности сурового глаза Гаяваты! Едва заметная тропинка ведет к нему.

– Я согласна! Ура, за мною бегом! – Этот голос был Бэзи. Но уже с третьего шага молодая девушка присела и произнесла: – Здесь чертовски острые камни. Я не понимаю, как можно идти? Разве стать козой? Что делать?

– Нет, нет, мы провели бы ночь как боги сумрака там наверху! Каменные терновники гор в уме мы бы венцами возложили на седые и черные кудри.

– Я полагаю, что хороший ужин внизу стоит воображаемых богов в воображаемых кудрях.

– Внизу есть сливки!

– Целый кувшин сливок.

– И чай, дивный золотой чай, старого душистого настоя! Что делать?

– И все же, и все же – вперед!

– Когда взойдет солнце, мы огласим горы древними криками и предложим святому бычка. – Закури солнце!

– Молодые боги, не слишком ли тяжелая участь – мерзнуть и дрожать? – А там внизу настоящие сливки.

– Зашейте рты!

– На чем ты сидишь?

– На мертвеце. Он шел, боясь смерти, и умер.

Высокомерно пышны щеки дитяти. Мать печальна. Угол здания каменного зверя спереди, – воздуха сзади вонзен в толпу. Дом этот – лоб слона.

Трубы незримых голосов приклеены к нему, как свернутые рукописи ученого, идущего учить.

Три черных знака Е, И, Т чернеют голосом другой воли. Т, упав на развалины, темнее воли, как листья других столетий.

Завитки улитки, кривые близорукие глазки слона на доске лица, яйцевидной стены здания. Плачет ли оно? Окон ливень, жилой

водопад.

Ножик плоскостей, чешуйчатое пространство. Панцирь досок залит дождем теней.

Толпы или прямоугольные глыбы?

Лезут, тянутся, громоздятся.

На сером рубле подпись казначея – это подпись месяца.

Дикий запорожец-свет разрубил на камни ночные облака, или юноша из ряда серых плоскостей склонен трудолюбиво над рукописью?

Но там, за облаками, как увядший осенний лист, изгрызенный червями, лице. – Одетый одеждою площадей. Город встал и несет рукопись.

Мне понятно только первое слово из его свертка.

А на ремнях, на горбу пустой и дикий небоскреб темнеет мертвыми дырами окон, точно ранец.

Город съеден червями окон, как осени лист.

Вениамин Александрович Каверин

Манекен Футерфаса

[текст отсутствует]

Николай Николаевич Асеев

Завтра

I.

Сначала мысль забилась на виске поэта, в голубоватой прожилке ударами крохотных биений. Это была самая миниатюрная турбина, какую можно было себе представить. Палль спал и жилка пульсировала медленно и спокойно, накапливая и разряжая микроскопическими приливами берег сознания. Сон, равномерный и глубокий вначале, свернулся вдруг сгустком запекшейся крови, с трудом вытолкнутой сердцем. Жилка набухла и посинела. Ее вмятая и трогательная вибрация приостановилась. С усилием сократившись, она протолкнула загустевший комок и забилась прерывисто часто. Голубизна весеннего дня, осаждавшего перед тем закрытые зрачки, превратилась в черную пропасть, через которую сонное сознание отказывалось перелететь. А перелететь было необходимо, чтобы не нарушилось кровообращение. Звонки трамваев, дребезжавшие целый день в только что вынутую раму, странно видоизменились в резкие хриплые голоса, угрожавшие прыжку через пропасть. Лоб Палля завлажнел испариной. Волна крови, докатившись до мозговых волокон, ударила в них цветными фонарями прыгающих искр. Палль хрипло передохнул и тяжело перевернулся на спину. Щиплящее мерцание затекшего плеча окончательно разбудило его. Сердце гремело, как после сильного внезапного испуга. Палль приподнялся и сел в постели. Это ощущение падения – перебои во сне – стало чересчур частым. Весь организм трепетал от какого-то темного подсознательного удара, будто бы налетев на подводный камень в плавном течении сна. Так, значит, конец действительно близок. Раньше эти перебои не были так мучительны. Что же делать? Врач говорил об изношенном сердце, которое следовало бы заменить новым. Омоложение? Но оно коснется не только сердца. Оно заполнит и мозг. Оно искривит его извилины и – вот самая поэма, что вчера задумана им с таким приливом радости и реальности бытия покажется ему сущим вздором. Палль наскоро проглотил бром, в

темноте нащупав ложку и флакон, и продолжал соображать. Дышать стало легче. Но мысли были совершенно живыми. Они ворошились в мозгу, как раздраженный клубок змей: свивались в кольца, вставая на хвосты, переплетались друг с другом. Другие были, как созревшие груши. Их нельзя было тронуть за ветку. Они гулко падали, обрываясь полные сока и переспевшие. Но собирать их в темноте было нельзя. Палль поднялся, накинул пиджак и перешел к столу. Электрическая лампочка перегорела; в темноте, он попытался записать их на ощупь, вода пером наугад.

«Искусство – сейсмограф волевых устремлений человечества. Его ощущения себя, как самого большого запаса жизни. В конце концов единственное искусство – существующее реально – есть искусство изменения, линяния, смены кожи непрерывно обновляемого сознания. Иначе ощущения бытия стали бы тусклыми, их формы стерлись бы, сгладились в смертельное безразличие. Разница ощущений есть разница жизнеспособности. Хотя эти ощущения могут замирать, их смена может замедляться, как ход соков в зимнем дереве. Тогда мы имеем мертвенную эпоху установки традиций. Эта эпоха – не наша. Накопление рвущихся воль дает нашей стремительную порывистость и слава тому, кто переведет эту порывистость на ровный, не останавливающийся ход».

Запись подаваемого кода бившейся жилки была, конечно, груба. Но приблизительный ее смысл был таков. И Палль думал если не этими выражениями, то равными им в своей назревающей боли пухнувшей почки. Наконец, разряд сознания взорвался, строки сделались расплавленными и горячими. Они стали в порядок, и поэма началась.

Откройте двери всех закатов,
Всех предстоящих вечеров–
У мира больше нет загадок:
Он прост, спокоен и суров.

Столетье! Стань в затылок, к ряду,
Мы шагом медленно пройдем
Принять парад разлтых радуг.

Земли поставленных трудом.

Сердце вновь закололо туповатой болью. Рука сразу устала, и дальнейшие, в темноте написанные строки, упали на бумагу перепутанными буквами.

Реллегаи нибалер
Иншаб вцаньте
Реилоле виперел
Седзь тасосян.
Умта щихоюв вирес
Бернег лозот
Соловаха анзаре
Жгутся в золах.

Рука двигалась все медленнее, пока не упала, обессилев, на стол. Жилка на виске пульсировала порывисто и внятно. Казалось, был слышен шорох проталкиваемых ею капель.

II.

Перехват оборванного клочка мысли получился механически, сам собою, и у Динеса-изобретателя вспыхнуло ощущение оплодотворенного поиска. Дальнейшее было просто. Брошюры популяризаторов разъяснили и подтвердили подсознательно воспринятое уже напряжением двух мышлемоторов понятие, и идея передвигающихся городов воплотилась в смутное, но прочное представление. Этому способствовал ряд разочарований человечества в возможности изменить быт городов статическим путем. Попытки устройства ряда огромных озонаторов, питающихся силою мощнейших водопадов, не привели к ожидавшимся результатам. Едва предварительные установки были пущены в ход – обнаружилось, что затрата ими кислорода уже грозит обесцветить поверхность земли. Они буквально высасывали ее из листвы. Леса желтели и блекли. Эта

неожиданно наступившая – был май в разгаре – осень заставила прекратить работы. Кроме того, выяснилось, что перегрев трансмиссий грозит иссушить поля. Точнее говоря, количество очищаемого озонаторами воздуха далеко не оправдывалось бы убылью его в воздухоемах. Да и кроме того с очевидной убедительностью выяснилась невозможность изменить быт старых, чудовищно разросшихся пепелищ человечества. Города пригнетали психику, примораживали, механизировали сознание. Казалось, испарения выгребных ям растлевали стремление к их истреблению.

Постройки колоссальных форм гнели и примагничивали волю к движению. И несмотря на чрезвычайную легкость смены места у людей атрофировалась потребность к перемещению, апатия и безразличие становились страшнейшими эпидемиями земли.

Динес во-время появился на свет. Вернее, человечество выдвинуло его против надвигающейся опасности. Его усовершенствованные двигатели уже дали возможность южным коммунам подвесить свои санатории на высоту Альп. Им была измерена впервые и превращена в многообразные виды энергии сила вращения земли. С тех пор, как на это грандиозное маховое колесо был надет привод мысли, запасы механической энергии для людей были неистощимы. Не стало больше опасения за истощение источника топлива. Все главнейшие силовые процессы опирались на земной привод. Однако, и эта блестящая победа не успокоила стремительной воли Динеса. Он мечтал о полном видоизменении быта людей, о полной деизоляции их психики.

Острый и длинный, как складывающаяся бритва, он вышел на аэроплощадку стоэтажного дома-obeliska. Призматический вертикальный аэромотор поблескивал стеклами граней на солнце. Динес вошел в него, став похожим на ртуть в термометре. Внутренность аэромотора походила на кабинку обыкновенного лифта. Четыре рычага блестели у возвышавшегося перед скамьей пюпитра. Динес нажал вверх и на запад и мотор, завертевшись юлой, плавно пошел в сторону от площадки. Молниеносное вращение ничем не отражалось внутри ее, так как внутренний круг пола с механической точностью делал такое же число промежуточных оборотов. Аэромотор был пропеллером, похожим на семянные зонтики одуванчика, и двигался по тому же принципу, что и те. Система

горизонтального полета сохранилась лишь, как очень устаревшая, среди немногих частных почитателей старины. Динес летел на запад, пятьдесят миль от коммуны «Грань» в район коммуны «Движение». Двойное кольцо радио-динам окружало плато, на котором высились опытные сооружения. Динес примагнитил мотор к верхнему этажу энергорегулятора и вошел в кубическую залу обсерватории. Сильная зрительная труба проектировала сменную картограмму местности. Динес с невольным удовольствием заметил близость окончания его планировок. Дома-призмы медленно вращались на установках, подобные островам ветряных мельниц. Вышедший из рабочего кабинета лаборант сообщил Динесу количество готовых подъемных установок. Динес молча кивнул головой и, переодевшись в рабочий костюм, склонился над вычислениями. Его профиль походил на падающий в море утес, четко выделяясь на изразцовой стене рабочей залы. Шум динам рокотал за стеклами, аршинные синие искры перебегали по углам. Динес заканчивал формулу подъема.

III.

В это же время – шесть утра, сентябрь 1961 г. – в квартале Карманьолы коммуны «Движение» – проснулся большеголовый Цоцци – меделян профессора экспериментальной хирургии. Цоцци проснулся от назойливого гудка кино-телефона, сигнализировавшего спешный вызов. Цоцци медленно поплелся к привратнику и – обученный им этому нехитрому ремеслу – начал старательно сдергивать с него одеяло. Недовольное похрапывание привратника скоро прервалось сонным зевком и, шлепая туфлями, тот прошел в приемную. Повернув включатель экрана, привратник увидел на нем склонившуюся к трубке фигуру Динеса. Изобретатель просит профессора принять его вне очереди? Хорошо. Об этом будет доложено, профессору. Ответ к 11-ти дня. Экран погас. Привратник записал телефонограмму в предварительную программу дня. Цоцци еще несколько секунд глядел на экран, как бы ожидая продолжения светоразговора, потом уши его опустились, и голова приникла к лапам в сонном покое.

В 11 с четвертью Динес лежал распростертым на операционном столе. Глазоф – профессор и ассистент склонились над его замороженным телом, смуглевшим под сталью ланцета. Молчание – в котором позванивали металлические часики инструментов – было торжественно. Сверкающее серебрящейся чешуей тончайшей чеканки, сердце с каучуковыми отростками артерий цвело под безвоздушным стеклянным колпаком.

Глазоф двумя пинцетами приподнял его и перенес в развернутую грудную клетку. Скрепив все соединительные каналы, свив и скрутив усики нервов, профессор дал знак ассистенту – и сверху из прожектора, похожего на воронку душа – брызнул в раскрытую грудь столб металлолучей, скрепляющих и сращивающих органические ткани.

Затем швы и рубцы поверхности – и пациент был передвинут в камеру восстановления кровообращения. Операция, очевидно, удалась. Об этом говорило сосредоточенное, но довольное сопение из-под густых усов профессора экспериментальной хирургии Глазофа и радостный взгляд его ассистента.

Последовавший затем между ними короткий разговор велся на странном диалекте – звучном и выразительном, в котором, однако, не было и тени родства с существовавшими когда-либо человеческими наречиями. Дело в том, что, пройдя стадию механических языков, способ обмена мнений между людьми стал опираться на смысловые разряды корней, оставляя эмоциональную выразительность одеяния звуков в воле каждого отдельного человека.

Звучала их речь так:

- Жармайль. Урмитиль Эр Ша Ща райль.
- Вург Тецигр. Фицорб агогр.
- Эрдарайль. Зуйль. Зуммь, мль.
- Вырдж. Жраб.

Приблизительная значимость диалога была такова:

- Это станет теперь не труднее работы дантиста.
- О, да, профессор, но только под вашим руководством можно сделать установку так точно и быстро!

Довольное сопение усилилось.

– Не забывайте, товарищ, что выделку механизма производил сам пациент. Без него нам бы еще не скоро достичь желательного

результата.

– Конечно, конечно – но биться в механическом насосе или в живом организме – разница. И ваша рука, профессор, оживила металл.

– Ну, ну, ну! Все старались! Все старались! Хорошо, что вышло хорошо! Идите в ванную.

Хирургическая опустела. Только в ведре кровянек кусок недавно живого, теперь запекшегося сизого мяса – сердце Динеса.

IV.

Динес взвился на наблюдательную площадку здания конденсатора. Ниже его на узорных парапетах, затянутые в каучук, механики суетились у огромного блока, протягивавшего рычаги магнитных полей. При полете предполагалось равномерное движение всех кварталов, в порядке их размещения. Проще говоря, город должен был лететь параллельными кильватерными колоннами улиц. Динес вступил на педали радиорупора и отдал приказ соединить магнитные поля.

Воздух задрожал и заколебался, как от сильного зноя. Серебродеревяное облако, плывшее высоко в небе, свернулось вдруг спирально и закрутилось в узкой воронке вихревого смерча. Над всеми домами, предназначенными к подъему, взвились узкие красные полосы флагов. Здания замедлили свое вращение на шпильях, и их дюр-алюминиевые ребра стали отчетливо выделяться меж стеклянных цельных стен. Динес дал второй сигнал. Рычаг движения загрохотал, как пушечная канонада и первый квартал, подпрыгнув резиновым движением, повис в трехстах метрах над землей. За ним второй, третий... Все шестьдесят четыре района гирляндами расцветили воздух. Солнце, стоявшее на уровне воздуха, просквозило стекло зданий – казалось, огромный калейдоскоп изменил узор своих стекляшек. Последний сигнал начала полета прозвучал певучими сиренами всех шести тысяч зданий. Земля поползла длинным шлейфом, волнуясь и подергиваясь конвульсиями, за первым движущимся городом человечества.

Низкий длинный звук вращающегося полета покрыл влажным гулом все остальные звуки. Облака метало от кольцевого вихря,

образованного разбрасывающей линией полета. Шестьдесят тысяч домов неслись косяком журавлей, разламывая воздушный хрусталь поднебесным мальштремом. Динес снял шлем и, войдя в рулевую кабину, в упор передавал распоряжения рулевым городских секторов. Восьмой квартал покривил линию – его следовало вывести из строя. В доме 01012а – испортилось магнетто. Нажатие кнопки – и дом рухнул вниз, выпавшим из обоймы патронов.

Динес закусил губу. Но сердце его билось ровно – серебряное сердце с каучуковыми артериями. Нужно было эволюировать на восток. Магнитный ток переведен на левый катет треугольника; его основание сократилось – и город, не путая порядка кварталов, начал забирать всей правой стороной внутрь кривой полета. Эволюция удалась блестяще. Динес улыбнулся удовлетворенно. Город «Самолет 1» годится для переустройства системы мира.

И.

В ту тысячную терцию, когда рушащееся на отрубляемую голову петуха лезвие топора прикасается к его шейным позвонкам, обостренное сознание казнимого отдает последний сигнал гремящей тревоге: «бежать». Приказ выполняется молниеносно. Все мускулы напрягаются. И дальнейшие процессы механически точно выполняют приказ, уже отделенного от них, мозга. Ножные мускулы сокращаются, крылья хлопают, – петух без головы – хотя бы без головы – продолжает бегство от исполнившего свое дело топора. Есть ли смысл в этом бегстве? Топор же безопасен обезглавленному. Он брошен рядом с головой, у которой веки повело сизой судорогой традиционного покоя. И все-таки – в этом бегстве есть последнее мощное усилие – разряд скопившейся динамики сознания с механизмом. Это – как пущенная пуля, полет которой остановить нельзя.

Вдруг светотень померкла, и в наступившей темноте, сумрачно предостерегающей, взвыл рупор тревоги. Кварталы не отвечали. Динес видел, что второй помощник его тщетно старается выключить магнитный руль. Рычаги бездействовали. Каким образом произошла катастрофа? – Динес не уяснил. Одно движение – и из левого бока

треугольника, вертящегося по инерции, здания стали сыпаться, как бобы из прорванного мешка. Динес вошел в кабинку аэромотора и рванул рычаги подъема. Мотор подпрыгнул, как собака на цепи, и тотчас же дернулся обратно, не имея силы выйти из воронки вихря, образованной падающим городом. Еще и еще нажатие рычагов и – подача тока прервалась. Руль лопнул, разлетевшись в мельчайшую металлическую пыль. Динес падал отвесно, вслед за провалившимися кварталами, хотя быстрота его полета вниз значительно ослабилась шестью последовательными порывами вверх. Город врылся в землю остриями шпильей, когда волна обратного воздуха подхватила мотор Динеса и опустила на землю, почти так же, как предохранительная сетка гимнаста. Динес откинул шлем и вышел из кабинки. Вокруг него были руины. Покачнувшиеся и на бок павшие здания устлали равнину. Большинство из них представляло груды обломков. Раскрошенное стекло и согнутый исковерканный металл создавали впечатление унылого первобытного хаоса. Кое-где пламя лизало внутренность кварталов. Жизни нигде не было видно. Рулевые секторов, очевидно, погибли все до одного.

Динес положил руку на сердце. Оно билось звонко и ритмично, не усиливши скорости ударов. Динес тронул еще раз ладонями грудь и прошептал:

«С такой машиной мы еще взовьем вверх человечество».

VI.

Палль проснулся от смертельного толчка изнутри. Полуобморочный сон, бросивший его ничком на листы рукописи, прервался внезапно резкой огромной болью, прохватившей его сквозняком с головы до ног. Концы его пальцев окоченели. Он с трудом добрался до окна, пытаясь распахнуть его. Из-за стопудовой рамы в глаза ему прыгнуло небо, с мелкой звездной дрожью, будто натертое фосфором. Ноги подогнулись. Он упал навзничь. Губы посырели от кровавой пены. Жилка на бледном виске еще некоторое время пульсировала, затем восковая амальгама проступила под кожей, В комнате стало тихо. Палль был мертв.

**Сигизмунд Доминикович
Кржижановский**

Квадратурин

I

Снаружи в дверь тихо стукнуло: раз. Пауза. И опять – чуть громче и костистее: два.

Сутулин, не подымаясь с кровати, протянул – привычным движением – ногу навстречу стуку и, вдев носок в дверную ручку, дернул. Дверь наотмашь открылась. На пороге, головой о притолоку, стоял длинный, серый, под цвет сумеркам, всочившимся в окно, человек.

Сутулин не успел опустить ног с кровати, как посетитель вшагнул внутрь, тихо втиснул дверь в раму и, ткнувшись портфелем, торчавшим из-под обезьянедлиной руки, сначала об одну стенку, потом о другую, сказал:

– Вот именно: спичечная коробка.

– Что?

– Говорю, комната ваша: спичечная коробка. Сколько здесь?

– Восемь с десяти.

– Вот-вот. Разрешите?

И Сутулин не успел рта раскрыть, как посетитель, присев на край кровати, спешно отстегнул свой туго набитый портфель. И продолжал, понизив голос почти до шепота:

– Имею дело. Видите ли: я, то есть мы производим, как бы сказать, – ну, опыты, что ли. Пока негласно. Не скрою: в деле заинтересована видная иностранная фирма. Вы хотите выключатель? Нет, не стоит: я только на минуту. Так вот: открыто – пока это тайна – средство для рашения комнат. Вот, не угодно ли.

И рука незнакомца, выдернувшись из портфеля, протягивала Сутулину узкий темный тюбик, напоминающий обыкновенные тюбики с красками, с плотно навинченной пломбированной головкой. Сутулин растерянно повертел скользкий тюбик в пальцах и, хотя в комнате было почти темно, различил на его этикетке четко

оттиснувшееся слово: *Квадратурин*. Когда он поднял глаза, они наткнулись на неподвижный немигающий взгляд собеседника.

– Итак, берете? Цена? Помилуйте, *gratis* [8]. Только для рекламы. Разве вот, – и гость стал быстро перелистывать вынутую из того же портфеля конторского типа книжечку, – простая подпись в книге благодарностей (краткое изъяснение, так сказать). Карандаш? Вот и карандаш. Где? Тут: графа III. В порядке.

И, захлопнув подпись, гость распрямился, круто повернул спину, шагнул к двери, – а через минуту Сутулин, шелкнув выключателем, рассматривал с недоуменно поднятыми бровями четко выпяченные буквы: Квадратурин.

После более внимательного обследования оказалось, что цинковый пакетик этот плотно обтянут снаружи, как это часто делается изготовителями патентованных средств, тонкой прозрачной бумагой, концы которой искусно вклеены друг в друга. Сутулин, сняв бумажный чехол Квадратурина, развернул свороченный трубочкой текст, проступавший сквозь прозрачный глянец бумаги, и начал читать:

«СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Разведя квадратуриновую эссенцию в пропорции чайная ложка на стакан воды, смочив получившимся раствором кусок ваты или просто чистую тряпочку, смазывают ею внутренние стены комнаты, предназначенные к разращиванию. Состав не оставляет никаких пятен, не портит обои и даже способствует – попутно – выведению клопов».

До сих пор Сутулин только недоумевал. Сейчас недоумение стало обростать каким-то другим, тревожным и острым чувством. Он встал и попробовал зашагать из угла в угол, но углы жилклетки были слишком близко друг к другу: прогулка сводилась почти к одним поворотам, с носков на каблуки и обратно. И Сутулин, круто оборвав, сел и закрыл глаза, отдался мыслям, которые начинались: а что?.. а если?.. а вдруг?.. Слева в расстоянии аршина от уха кто-то вбивал в стену железный костыль, молоток, то и дело срываясь, бухал, казалось, метя Сутулину по голове. Стиснув виски руками, он

раскрыл глаза: черный тюбик лежал посреди узкого столика, умудрившегося как-то втиснуться меж кроватью, подоконником, стеной. Сутулин сорвал пломбу, и головка тюбика, винтообразно кружась, отскочила. Из открывшейся круглой щелочки потянуло горьковато-пряным запахом. Запах приятно растягивал ноздри.

– Ну-ну. Попробуем. Хотя.

И, сняв пиджак, обладатель Квадратурина приступил к эксперименту. Табурет был пододвинут к дверям, кровать выставлена на середину комнаты. На кровать взгроможден стол. Толкая вдоль половиц блюдце, в котором стеклилась прозрачная, с чуть желтоватым отливом жидкость, Сутулин полз вслед за блюдцем, систематически макал носовой платок, накрученный на карандаш, в Квадратурина и мазал им вдоль досок и обойного узора. Комнатка действительно, как сказал тот, сегодняшней, в спичечную коробку. Но Сутулин работал медленно и аккуратно, стараясь не оставлять непромазанным ни одного уголка. Это было довольно трудно, так как жидкость действительно мгновенно испарялась или впитывалась (он ничего не разбирал), не оставляя даже самого легкого налета, и только запах ее, все более острый и пряный, кружил голову, спутывал пальцы и заставлял чуть дрожать прижатые к полу колени. Когда с половицами и низом стен было покончено, Сутулин, поднявшись на странно ослабевающих и тяжелых ногах, продолжал работать стоя. Изредка приходилось подбавлять эссенции. Тюбик понемногу пустел. За окном была уже ночь. На кухне, справа, загремел болт. Квартира готовилась ко сну. Стараясь не шуметь, экспериментатор с остатками эссенции в руках взобрался на кровать, с кровати на шатающийся стол: оставалось выквадратурировать потолок. Но тут застучали кулаком в стену:

– Чего вы там. Люди спят, а он...

Обернувшись на звук, Сутулин сделал неловкое движение: склизкий тюбик выпрыгнул из рук и упал вниз. Сутулин, осторожно балансируя, спустился с обсохшей кистью на пол, но было уже поздно. Тюбик был пуст, и вокруг него одуряюще благоухало быстро иссыхающее пятно. Хватаясь от усталости за стену (слева снова недовольно заворошились), он, напрягая последние усилия, расставил вещи по их местам и, не раздеваясь, бухнулся в кровать. Черный сон тотчас же упал на него сверху: и тюбик, и человек стали пусты.

Два голоса начали шепотом. Затем по ступеням звучности – с *piano* на *mf*, с *mf* на *f*: *ff* – прорвало сон Сутулину.

– Безобразие. Мне чтоб этих жильцов из-под юбки... Крик разводить?!

– Не на помойку...

– Знать не знаю. Сказано вам: ни собак, ни котов, ни котов, ни детей... – и после этого последовало такое *fff*, что с Сутулина окончательно сшибло сон и он, все еще не раскрывая сшитых усталостью век, потянулся – привычным движением – к краю стола, на котором стояли часы. Тут-то и началось: рука долго тянулась, щупая воздух: ни часов, ни стола не было. Сутулин тотчас же раскрыл глаза. Через миг он сидел на кровати, растерянно оглядывая комнату. Стол, обычно стоявший тут, у изголовья, отодвинулся на середину какой-то полупознакомой, просторной, но нескладной комнаты.

Все вещи были те же: и коврик, затертый и куцый, выползший вслед за столом куда-то вперед, и фотографии, и табурет, и желтые узоры на обоях, – но все это было расставлено непривычно широко внутри растянувшегося комнатного куба.

«Квадратурин, – подумал Сутулин, – вот это сила».

И тотчас же стал приспособлять мебель к новому пространству. Но ничего не получалось: коротенький коврик, пододвинутый назад, к ножкам кровати, обнажал истертые голые половицы; стол и табурет, притиснувшиеся по привычке к изголовью, освобождали пустой пропаутиненный угол с выставившейся наружу всякого рода рванью, прежде искусно маскированной тесными углами и тенью стола. Когда Сутулин с торжествующей, но чуть испуганной улыбкой обходил, тщательно всматриваясь во всякую мелочь, свою новую, чуть не в квадрат возведенную квадратуру, – он с неудовольствием заметил, что комната разрослась не совсем равномерно: наружный угол, затупившись, гнал стенку куда-то вкось; у внутренних углов Квадратурин работал, очевидно, слабее; как ни тщательно проделал Сутулин смазку, опыт давал несколько неравные результаты.

Квартира понемногу просыпалась. Мимо дверей шмыгали люди. Хлопала дверь умывальной. Сутулин подошел к порогу и повернул

ключ направо. Затем, сунув руки за спину, попробовал зашагать из угла в угол: вышло. Сутулин радостно засмеялся. Ну вот, наконец. Но тотчас же подумал: шаги могут услышать – там за стенами – справа, слева, сзади. Постояв с минуту без движенья, он быстро нагнулся, – в виске вдруг заняла вчерашняя острая тонкая боль, – и, сняв штиблеты, отдался удовольствию прогулки, беззвучно шагая в одних носках.

– Можно?

Голос хозяйки. Он было подошел к двери и взялся за ключ, но тотчас же вспомнил: нельзя.

– Одеваюсь. Погодите. Сейчас выйду.

«Все хорошо, но осложняет. Скажем, буду запираю и ключ с собой. Ну а замочная скважина? А после вот окно: надо занавесить. Сегодня же». Боль в виске утоньшилась и стала тягучей. Сутулин поспешно собирал бумаги. Пора на службу. Одедся. Вдвинул боль в картуз. Послушал у двери: будто и никого. Быстро открыл. Быстро вышел. Быстро защелкнул ключом. Так.

В прихожей терпеливо дожидалась хозяйка.

– Я хотела с вами об этой, как ее. Представьте, подала заявление в домком, что у нее...

– Слышал. Дальше.

– Вам ничего. От восьми квадратных метров не оторвешь. Но вы войдите в мое...

– Спешу, – качнулся картузом, и по ступенькам.

III

Возвращаясь со службы, Сутулин остановился у витрины мебельщика: длинная выгибь дивана, раздвижной круглый стол... хорошо бы – но как их внесешь мимо глаз и расспросов? Догадаются, не смогут не догадаться...

Пришлось ограничиться покупкой метра канареечно-желтой ткани (все же занавеска). В столовую он не заходил: аппетит исчез. Нужно скорей к себе – там все это легче: не спеша обдумать, оглядеться и приладить. Вдвинув ключ в дверь своей комнаты, Сутулин посмотрел по сторонам, – нет ли подглядя: нет. Вшагнул. Дал

огонь и долго стоял, распластав руки по стене, с сумбурно бьющимся сердцем: *этого он не предвидел* – никак.

Квадратурин *продолжал* делать свое дело. За восемь-девять часов, пока хозяин был вне, он успел раздвинуть стены на добрую сажень; вытянутые невидимыми тяжами половицы зазвенели от первого же шага, как органные трубы. Вся комната, растянутая и уродливо развороченная, начинала пугать и мучить. Не раздеваясь, Сутулин присел на табурет и оглядывал свой просторный и вместе с тем давящий сверху гробовидный жилевой короб, стараясь понять причину нежданного эффекта. Тут он вспомнил, – ведь потолок остался несмазанным: эссенции не хватило. Жилкороб расползлся только вбок и вдоль, ни на дюйм не подымаясь кверху.

«Остановись. Надо остановить эту квадратуринью штуку. Или я...» Он зажал ладонями виски и слушал, как едкая боль, еще с утра забравшаяся под череп, продолжала вращать сверло. Хотя окна в доме напротив были черны, Сутулин закрылся от них желтым платом занавесок. Голова все не унималась. Он тихо разделся, защелкнул свет и лег. Сначала был короткий сон, потом разбудило чувство какой-то неловкости. Подоткнув плотнее одеяло, Сутулин заснул опять, и снова то же неприятное ощущение безопорности впуталось в сон. Он поднялся на ладони и свободной рукой провел вокруг себя: стены не было. Чиркнула спичка. Ну да: он дунул на огонек и охватил руками колени, так что локти чуть хрустнули. «Растет, проклятая, растет». Стиснув зубы, Сутулин сполз с кровати и, стараясь не шуметь, осторожно придвинул сначала передние, потом задние ножки кровати вслед уползающей стене. Слегка знобило. Не зажигая больше света, он пошел искать в углу на гвозде пальто, чтобы укрыться теплее. Но на стене крюка на вчерашнем месте не было, и несколько секунд нужно было шарить по стене, пока руки не наткнулись на мех. После этого дважды в ночь, длинную и тягучую, как боль в виске, Сутулин прижимался головой и коленями к стене, засыпая, и, проснувшись, снова возился у ножек кровати. Прodelывая это механически беззлобно и мертво, он, хотя вокруг еще было темно, старался не раскрывать глаз: так лучше.

Когда к следующим сумеркам, отслужив свой день, Сутулин подходил к порогу своей комнаты, он не торопил шагов и, войдя, не испытал ни изумления, ни ужаса. Когда зажглась, где-то там, далеко под низким длинным сводом, тусклая шестнадцатисвечная лампочка, желтым лучам которой трудно было и дотянуться до черных, врозь расползшихся углов огромной и мертвой, но пустой казармы, которая еще недавно, до Квадратурина, была такой тесной, но такой своей, обжитой и теплой крохотушей, – он покорно пошел навстречу желтому, умаленному перспективой квадрату окна, пробуя сосчитать шаги. Оттуда с жалко и трусливо затиснувшейся в приоконный угол кровати он смотрел тупо и устало сквозь глубоко всверлившуюся боль на качание теней, приникнувших к половицам, на низкую и гладкую навесь потолка. «Вот – вытеснится это из тюбика, расквadrатится: квадрат в квадрат, квадрат квадратов в квадрат. Надо думать в обгон: если его не передумаешь, перерастет оно и...» И вдруг в дверь гулко ударили кулаком:

– Гражданин Сутулин, вы дома?

И оттуда же издали приглушенный и еле слышный голос хозяйки:

– Дома. Спит, верно.

Сутулина обдало потом: «А вдруг не успею дойти – и они раньше...» И, стараясь беззвучно ступать (пусть думают, что спит), он долго шел сквозь темноту к двери. Вот.

– Кто?

– Да откройте, что вы там заперлись. Комиссия по перемеру. Перемерим и уйдем.

Сутулин стоял, припав ухом к двери. Там, за тонкой доской, топотали тяжелые сапоги. Произносились какие-то цифры и номера комнат.

– Теперь сюда. Откройте.

Одной рукой Сутулин охватил головку штепселя, стараясь скрутить его, как скручивают голову птице: штепсель брызнул светом, затем кракнул, бессильно завертелся и обвис. В дверь снова ударили кулаком:

– Ну.

Тогда Сутулин повернул ключ влево. В раму двери вдвинулась черная широкая фигура.

– Зажгите свет.

– Перегорела.

И, цепляясь левой рукой за дверную ручку, правой – за жгут провода, он пытался заслонить расплывшееся пространство. Черная масса отшагнула назад.

– У кого там спички? Дай-ка коробок. Посмотрим все-таки. Для порядку.

И вдруг запричитала хозяйка:

– Да что смотреть-то там? Восемь аршин по восьми раз смотреть. Оттого что меряете, небось не прибавится. Человек тихий, после службы прилег – отдохнуть не дадут: мерить да перемеривать. Вот другие, которые и права-то на площадь не имеют, а...

– Оно и впрямь, – пробурчала черная масса и, качнувшись с сапожища на сапожище, осторожно и даже почти ласково втянула дверь в свет. Сутулин остался один на подгибающихся ватных ногах среди четырехугольной, ежесекундно растущей и расплывающейся тьмы.

V

Выждав, когда шаги утомонились, он быстро оделся и вышел на улицу. Еще опять придут, по перемеру, недомеру или мало там кто. Лучше додумать здесь – от перекрестка к перекрестку. К ночи поднялся ветер: он тряс голыми иззябшими ветвями деревьев, раскачивал тени, гудел в проводах и бился о стены, будто пробуя их свалить. Пряча изострившуюся боль в виске от ударов ветра, Сутулин шел, то ныряя в тень, то окунаясь в светлы фонарей. Вдруг что-то тихо и нежно, сквозь грубые толчки ветра, коснулось локтя. Обернулся. Под бьющими о черные края перьями знакомое, с задорно прищуренными глазами лицо. И еле слышимо сквозь гудящий воздух:

– Да узнайте-ка же вы меня. Смотрит мимо. И поклонитесь. Вот так.

Легкая фигура, запрокинутая ветром, стоя на цепких и острых каблучках, вся выражала неподчинение и готовность к борьбе.

Сутулин наклонился козырьком картуза книзу:

– Но ведь вы должны были уехать. И здесь? Значит, помешало что-то...

– Да – вот это.

И он почувствовал, как замшевый палец тронул ему грудь и тотчас же назад, в муфту. Он отыскал под пляской черных перьев узкие зрачки, и показалось, что еще взгляд, еще одно касание, удар по горячему виску, и *то* отдумается, ответится и отпадет. В то время она, близя лицо к лицу, сказала:

– Пойдем к вам. Как тогда. Помнишь?

И тотчас все оборвалось.

– Ко мне нельзя.

Она отыскала отдернувшуюся руку и цепко держалась за нее замшевыми пальцами.

– У меня... нехорошо, – ронял он в сторону, снова отдернув и руки, и зрачки.

– Вы хотите сказать: тесно. Боже, какой смешной. Чем теснее... – ветер оторвал конец фразе. Сутулин не отвечал. – Или, может быть, вы не...

Дойдя до поворота, он оплянул: женщина продолжала стоять, прижав муфту к груди, как щит; узкие плечи ее свело зябью; ветер цинично трепал ей юбку и задирали полы пальто. «Завтра. Все завтра. А сейчас...» И, частя шаги, Сутулин решительно повернул назад.

«Именно сейчас: пока все спят. Собрать вещи (самое необходимое) и уйти. Бежать. Дверь настежь, пусть и они. Почему одному мне? Пусть и они».

Действительно, квартира была сонной и темной. Пройдя по коридору – прямо и направо, Сутулин решительно открыл дверь и, как всегда, хотел повернуть выключатель, находившийся у входа, но тот, бессильно завертевшись в пальцах, напомнил, что ток прерван. Это было досадным препятствием. Делать нечего; порывшись в карманах, Сутулин отыскал коробку спичек: она была почти пуста. Значит, три-четыре вспышки – и все. Надо экономить и свет, и время. Дойдя до вешалки, он чиркнул первый раз: свет пополз желтыми радиусами сквозь черный воздух. Сутулин нарочно, преодолевая искушение, сосредоточился на освещенном клочке стены и свесившихся с крючьев пиджаках и френчах. Он знал, что там, за спиной, расплывшееся черными углами мертвое оквадратурированное пространство. Знал и не оглядывался. В левой руке дотлевала спичка, правая сдергивала с крючьев и швыряла на пол. Понадобилась еще

вспышка; глядя в пол, он направился в тот угол, – если он еще угол и если еще там, – куда, по его расчету, должна была сползти кровать, но нечаянно огонек попал под дыханье, – и черная пустыня сомкнулась вновь. Оставалась последняя спичка: он чиркнул ею раз и другой: огня не получалось. Еще раз – и шуршащая головка ее, отвалившись, выскользнула из пальцев. Тогда, повернувшись, боясь идти дальше вглубь, человек двинулся назад к узлу, брошенному под крючьями. Но поворот был сделан, очевидно, неточно. Он шел – шаг к шагу, шаг к шагу – с пальцами, протянутыми вперед, и не находил ничего: ни узла, ни крючьев, ни даже стен. «Дойду же наконец. Должен же дойти». Тело облипло холодом и потом. Ноги странно выгибались. Человек присел на корточки, ладонями в доски пола: «Не надо было возвращаться. А так – одному, как стоишь, начисто». И вдруг ударило: «Жду тут, а она растет, жду, а она...»

Жильцы квадратур, прилегавших к восьми квадратным гражданину Сутулина, со сна и со страху не разбирались в тембре и интонации крика, разбудившего их среди ночи и заставившего сбежаться к порогу сутулинской клетки: кричать в пустыне заблудившемуся и погибающему и бесполезно, и поздно: но если все же – вопреки смыслам – он кричит, то, наверное, *так*.

Прикованный Прометеем

Факт, сообщаемый ниже, не включен в книги по истории: черепичная кровля и каменные стены маленького домика, в котором он произошел, позаботились защитить факт от стилоса, не то бы стилос передал эту историю гусиному перу, гусиное перо пересказало бы стальному перу, стальное перо – свинцовым буквам типографщика. Притом факту повезло: он возник и изник темною февральскою ночью, когда все, кроме ветра да песчинок, шевелящихся внутри стеклянных часов, крепко спали, в их числе и историк.

Итак, за стенами дома, врытого в почву Афин, в полустадии от восточных ворот, на исходе зимы третьего года LXXIX Олимпиады шестидесятилетний старик Эсхил, сидя у стола, дописывал «Прометея, принесшего огонь». Оставалось стихов сорок-пятьдесят, антистрофа и заключительная песнь хора. Поэт упрямо боролся со снами: маленькие сны и снишки, уцепившись что было мочи за ресницы поэта, тянули ему веки книзу – поэт же пробовал поднять их кверху. Близилась весенняя Дионисия. Надо было кончить трагедию возможно скорее.

Придвинув новую вощенку поближе к желтому языку огня, качающемуся в медной светильне, он взял было в руку стилос. Но проказливые сны, уцепившись за пальцы, разжали их: с легким звоном стилос упал на пол. Свесив руку, запрокинув голову, с полуоткрытым ртом – старец уснул.

Бодрствовал только огонь. Огню было скучно: покачался на тонкой сине-желтой ножке вправо-влево, потянулся изогнутым жалом вверх, подмигнул неповоротливой тьме и затем, наклонившись над воценой табличкою, стал от нечего делать всматриваться в царапины. Судя по длине строк, по размещению букв, это была какая-то писанная пятистопным ямбом трагедия. Сначала было неинтересно. Огонь шатнулся было желтым телом назад. Но тут же рядом белели и другие тронутые стилосом вощенки. Буква за буквой, строка к строке – и вдруг Огонь, нервно дернувшись из устья светильни, с расширенными желтыми глазами наклонился над одной из табличек так низко, что легкий восковой налет ее начал таять: там, среди

путаницы слов, Огонь ясно различил *свое имя*. Трудно было связать разбросанные строки. Но старик не просыпался; черная ночь, овитая в ветры, длилась и длилась, и понемногу, знак за знаком, слово за словом, глаза Огня ссучили строки в единую нить. Таблицы рассказывали о боге Прометее, похитившем с неба Огонь («То-то меня всегда тянет ввысь», – подумал читатель). «Огонь ранее жил лишь среди бессмертных, – читал он. – Теперь стал достоянием людей». Но Прометею грозит кара; в длинном монологе Зевеса исчислялись пытки, грозящие похитителю: изгнание, распятие на выступе скалы, скармливание Зевесову орлу, слетающему с Олимпа, печени несчастного. За строками чуялось: стилос – против клюва; Эсхил – против Зевеса; сострадание – против страдания. Каждая буква человека говорила карающему: «Нет».

Но Огонь весь трепетал от негодования:

– Так вот кто сорвал с меня синюю звездную одежду и облачил в эти грязно-желтые лохмотья. О Прометей! О нечестивый вор, будь проклят! Ты говоришь, Зевес, он пострадает; но если ты умел создать мир, почему ты не умеешь создать кару нечестивцу? Ранящий выступ скалы, клюв коршуна – мало. Взгляни на меня, о Зевес: за что мне, ни в чем перед тобою не повинному, посланы муки, перед которыми все твои кары – ничто? Подумай: мне – седмиустному Пламени, ясноокому Пурос ^[9], небожителю, блистающему среди небожителей, – быть брошену сюда, на черную землю, к людям, бороться с мраком их пещер, униженно ползать по сучьям и поленьям, вымаливая в пищу капли масла и ветви сухого хвороста; служить грязным, дрожащим от холода и страха тьмы животным; тлеть на их грубых алтарях и треножниках; спать, зарывшись в золу из печей и жаровен. Пусть он, обидчик, прикован к камням – поделом; но за что прикован я, за что мое звездное тело прижато кирпичами к днищам их очагов? О, горе, горе святотатцам! Горе земле, похитившей меня!

Отчаянным рывком Огонь попробовал оторваться, взвиться ввысь пламенеющим блеском, но раскаленный край медной светильни крепко держал его, не отдавая небу. Синие искры зажглись внутри пламени: рванувшись еще раз, Огонь лизнул острым жалом край деревянной дощечки.

– Глупый человек, – зашипел он, – спит. Доверился блику лампы, а вот я встаю во весь свой рост, одетый в сверканье искр,

скованный, но мстящий земле бог. Ты, сонная тварь, не приносишь мне жертв, – и вот я сам приношу себе жертву: имя мое Пожар, подножие мне – не край лампы, а твой дом, твоя жизнь.

Краешек вощеники зашевелился, выгнулся, затлел, но в тот же миг Огонь резко качнулся вспять: «Но если сгорит дом, – никто, нигде и никогда, ни там, у светил, ни здесь, у светилен, не вспомнит о моих страданиях, не затоскует моею тоскою, ни на земле, ни в небе не прозвучит ни слова, не напишется ни буквы о моей судьбе. Нет».

Старец спал. Взволнованные блики огня дрожали на его покойном, точно в два сна одетом лице; оно, с закрытыми глазами, точно гляделось в какую-то глубь. Огонь впервые видел, вытянувшись к краю стола, лицо старца: серебряная его борода легла на теплую коричневую ткань зимней тоги; ряды морщин на челе, точно строки, вписанные ступившимся стилосом; выпуклые твердые жилы на обнажившейся руке; короткое и слабое дыхание.

– Скоро умрет, – затеплилось что-то в Огне, – еще не кончит трагедии. Бедный старик. Но почему ты, убогое человечье существо, назвало свой стих не моим лучезарным именем, а темным именем вора и нарушителя правд? Разве я не прикован, как и он? Разве я не разлучен с небесами, как и он? Разве не я здесь мерцаю над твоими строками, защищая их от тьмы! Разве не я, божественный Пир, грею твое старое, холодеющее тело! О человек, глупое, бедное разумом существо, – и ты не можешь мне подарить всех твоих слов, царапанных по воску: я мог бы растопить их, сжечь и их, и тебя, и твое жилище, и всю твою землю, – но вот служу вам, одетый в желтые одежды раба, укрытый в серый плащ из пепла, – я, страдающий бог, похищенный у звезд и отданный кирпичным очагам, я, светлейший из светлых, – Риг. Были миги – я горел в зигзаге молнии, брошенной десницею Зевеса с неба на землю; теперь таюсь, все тот же, в кривых царапинах твоего стилоса, брошенных землею в небо.

Смолк. И великая сладостная жалость к себе овладела Огнем, он закачался от боли, обжигая семью устами своими края грубой бронзовой светильни. Синие искры замерцали ярче внутри желтого обвода пламени, что-то обожгло Огонь изнутри, точно родился в нем огонь огня, что-то ужалило в глаз, и вдруг... Огонь заплакал. Это было необычайно: Огонь плакал – синими прозрачными слезами, стекавшими к краю раскаленной светильни и с легким шипом

растворявшимися в воздухе. Огонь плакал, безутешно раскачиваясь на шаткой, тонкой ножке, и медленно тушил себя самого своими же слезами. Качнулась сонная Тьма: подползла к самым строкам – посмотреть, в чем дело, – и прикрыла строки. Осмелев, попробовала и дальше. Качнувшись никнувшим синим тельцем своим, Огонь сделал последнее усилие и, оттолкнув Тьму, бросил луч на лицо спящего. «Будь прославлен в веках», – прозвучало шипящим шепотом у края светильни, – и Огонь потух: он убил себя слезами. Тьма попробовала: нельзя ли дальше? Можно: сомкнулась.

Старец Эсхил беспокойно застонал во сне: ему снилось – трагедия о Прометее, принесшем огонь, встречена тихим, но злобным шипением: ошккана.

Алексей Волков

Чужие

I

Два буйка качались на волнах среди непроглядной тьмы тропической ночи.

Черная вода, встречая препятствие, вспыхивала и обтекала буйки пылающими струйками жидкого огня.

Буюк с седыми волосами назывался Николаем Ивановичем Врагиным, профессором биологии. Вторым буйком был я. Между нами плыла тяжелая решетка палубного люка.

Казалось, прошло несколько суток с того момента, когда мы после долгого колебания решились и прыгнули в воду с борта горевшего парохода, сбросив сначала решетку люка. Вцепившись в нее, мы плыли рядом: решетка была слишком мала, чтобы выдержать тяжесть хотя бы одного из нас.

Рассвет наступил неожиданно. Вдруг потухли струи, из поредевшего мрака выступили плавно вздымавшиеся и опадавшие мутно-серые водяные бугры, грубая решетка, наши скрюченные пальцы, вцепившиеся в нее, и бледное, но спокойное лицо Врагина.

Гребя изо всех сил, мы старались теперь направить плот к суше.

Предрассветные сумерки в тропиках коротки, но солнце еще не успело взойти, как мы подплыли к берегу настолько, что разглядели на вершине одной из дюн три неподвижные человеческие фигуры, похожие издали на вбитые в кочку колышки. Одна из фигур стала спускаться к воде. Подплывая все ближе и ближе, мы пристально вглядывались в фигуры на берегу. Европейцы или туземцы? Через полчаса мы могли оказаться спасенными или... в плену. На западном берегу Африки возможно и это, что бы ни говорили те рассудительные люди, которые представляют себе весь мир чем-то вроде окрестностей Петергофа или Сестрорецка.

Приподнятый высокой волной, я увидел много ближе, чем ожидал, белую полосу – пену прибоя. На мелководье волны усилились.

Налетевшая большая волна, по пути подхватив на свой хребет и меня, с грохочущим ревом далеко выкатилась на берег, разостлалась и пенистым потоком поспешно хлынула обратно. Задышающийся, полуголушенный, я оказался на мокром песке. Рядом, в пяти шагах, среди ключьев пены и бежавших луж, полз на четвереньках Николай Иванович.

Саженья в двадцати дальше, размашисто шагая, направлялись к нам трое в темных фуфайках. Двое передних были с автомобильными очками на глазах, третий – в пробковом шлеме. Европейцы! Концы длинных тонких удилиц упруго колебались над их головами. Успела промелькнуть нелепая догадка: пришли ловить рыбу.

С шипением и свистом чудовищного змея вырос очередной вал. Не успев повернуть головы, краем глаза я увидел на миг близко, почти у ног, высокую изогнувшуюся стену кипящей воды, пронизанную пузырьками пены. Свертываясь наверху гигантской стружкой, стена нависла надо мною. Меня приподняло, завертело и швырнуло еще дальше на берег. Сознание гасло. Еще удар – и обильный пир крабам... При этой мысли, отчаянным напряжением собрав последние силы, я поспешно отполз на несколько шагов и, не подымаясь, долго силился плотнуть воздух, давясь от воды, попавшей в легкие. Голова кружилась, все тело ныло.

II

Я медленно встал, шатаясь от слабости. И, еще не подняв головы, заметил, что спешившие к нам на помощь стоят совсем рядом, в двух шагах.

Мой взгляд скользнул от ног к голове по фигуре ближайшего. Я похолодел. Это было так неожиданно, точно из высокой травы внезапно поднялась и замерла в зловещей неподвижности у самого лица страшная голова змеи.

Вместо ожидаемого мною человеческого лица было нечто невообразимо чудовищное. Принятое издали за автомобильные очки оказалось в действительности громадными выпученными бельмами – глазами величиною в блюдце. Глаза сидели рядом, вплотную, несоразмерно большие для маленькой по сравнению с ними головы.

Они занимали все лицо, выдаваясь из своих орбит выпуклыми фарфорово-белыми чечевицами.

Казалось, нет ни лба, ни щек, ни скул – одни глаза! Два белых шара на шее, стержнем выдвинувшейся из плеч. Блестяще-белую эмаль выпученных белым раскалывали пополам горизонтально, от края до края, тонкие черные трещины – щели сильно суженных зрачков.

Жесткая складка плотно сомкнутого, безобразно громадного лягушечьего рта в грязно-зеленой коже, сухо обтягивавшей всю голову и свободную от глаз часть лица, придавала голове невыразимо свирепое выражение.

Разрез широкой пасти, загибаясь кверху, заканчивался в дряблых складках кожи под ушами. Выдающаяся вперед узкая и тупая, без подбородка челюсть нависала над жилистой шеей настороженной ящерицы.

Пораженное внимание, отвлеченное необычайным, пропустило деталь: между глазами виднелось небольшое, неправильной формы отверстие – единственная ноздря. Точно приносясь к чему-то, конвульсивно сокращались ее нервные, более светлые края...

Если бы я увидел эту голову на туловище гада, не было бы того впечатления отталкивающей сверхъестественности. Но голова чудовища – на человеческом туловище! Смятенная, бессильная мысль билась, как птица в силках. Сон, сказка наяву не поддавались объяснению.

Глухо, точно из-за толстой каменной стены, доходил до ушей грохот прибоя.

Чувствуя, как земля колеблется подо мной, с ужасом смотрел я на гипнотизирующую маску чудовища. Немо и страшно, не шевелясь, глядело оно мне в лицо. И вдруг узкая щель зрачка мгновенно расширилась в овал, еле заметный золотистый обвод растянулся, сверкнул огнем.

Точно острое сверло со страшной быстротой завертелось в моем мозгу. Мгновенно потерявшие краски дюны и голова гада ринулись в бездну.

Царила тишина. Я открыл глаза. Перед самым лицом расстился в блеске солнца мелкий красный песок, в нескольких саженях далее подымаясь вверх пологим голым скатом. Я лежал на боку в тени большого камня.

Голова еще кружилась. Но сознание светлело. Я быстро сел, с изумлением осматриваясь. Море... Удивительно – море исчезло! Даже шума волн не было слышно. Я вспомнил о страшной встрече на берегу, но объяснил все галлюцинацией, результатом продолжительного нервного и физического напряжения. Чем другим можно было объяснить это, как не игрой расстроенных нервов? Но все остальное ведь было. Где же берег, море?..

Сердце сжало ожидание неведомого. Я осторожно выпянул из-за камня. Шагах в десяти на песке лежали и стояли тюки в брезентах, жестяные ящики, матрацы и несколько больших сундуков полированного дерева.

Вытянув голову еще дальше, я как обожженный отдернул ее обратно. Я опять увидел его. Он сидел на тюке среди груза. Выпуклый водолазный шлем закрывал его голову но за дымчатыми стеклами я сразу разглядел фарфорово-белые глаза. Рядом стояло воткнутое концом в песок тонкое древко длинного копья.

IV

Первым побуждением было – бежать! Но как? Уползти по голому песку – детская затея. Укрываясь ящиками, прокрасться ему за спину и тогда перебраться за дюну? Как уйти незамеченным?

Я повернулся, пополз к другому концу тюка, заглянул за угол и окаменел от страшной картины. На брезенте, вытянувшись, лежало на спине неподвижное тело Врагина. Два чудовища склонились над ним, неестественно изогнув хребты, точно горбатые гусеницы. Одно медленно погружало в чуть вздымавшуюся грудь моего друга большую тонкую блестящую иглу. Другое поддерживало вытянутые и поднятые вверх руки Николая Ивановича.

Напрасной гибелью, безрассудством было бы пытаться спасти Врагина. Но... оставить его на страшную смерть под пытками? Я

знал: воспоминание о проявленной трусости и подлости не перестанет давить меня до конца жизни.

Сознавая безумие поступка, я вскочил. Невольный крик вырвался из горла.

В тот же момент, пронзительно присвистнув, точно подброшенный пружиной, сидевший урод высоко подпрыгнул, изумительным прыжком акробата подскочил сажени на две ближе и, взмахнув копьем, направил его мне в грудь.

Тонкое древко качалось, как стальное жало рапиры. Я знал, что рискую вызвать удар малейшим движением. Мгновение я стоял неподвижно. Где-то близко защебетала птичка. Уроды, выпрямившись, смотрели на меня. В тишине мой обостренный слух уловил шум моря и резкие крики морских птиц. Значит, море не особенно далеко.

Лагерь был расположен между дюнами, во впадине. Песчаная могила... А может, не поздно уйти? Я как бы с усилием повернул рычаг в мозгу, подавляя эту мысль, и заставил себя пошевелиться. В безнадежном отчаянии приговоренного к казни я медленно подошел к Врагину. Маленькое пятнышко краснело на его груди, под сердцем.

Я поднял его и понес. Зачем? Не знаю. Я был заведенным автоматом. Третий раз в этот день все происходящее казалось мне сном.

С мутнеющим сознанием, ежесекундно ожидая услышать дикий крик, принять боль удара, я медленно переставлял ноги в рыхлом песке. Тянулись секунды – ни окрика, ни звука нагоняющих шагов! Только невидимые птицы дюн усилили свист.

Неодолимо тянуло оглянуться – так тревожно было молчание. Но я шел и шел... Мимо проползли толстые искривленные кактусы. И снова раскаленный песок... Наконец я оглянулся. Сыпучий шлейф холма заслонил вид на пройденный путь.

Нервное и физическое напряжение оборвалось сразу. Я выронил тело Николая Ивановича и упал без чувств. Впрочем, я тотчас же очнулся и повернулся к Врагину. Красноватая точка расплылась в широкое пятно. Я положил руку на грудь и сейчас же снял. Сомнений не оставалось – я принес труп. Риск был напрасен, они умертвили его! Там, на брезенте, Врагин еще дышал.

Я поднял голову. Частью колоссального зеркального шара поблескивала темно-синяя гладь спокойного океана. Синева,

постепенно бледнея, сливалась с голубым небом. И на этом фоне – красные волны песка. Простор и великий покой пустыни.

От прибрежной полосы меня отделял ряд дюн. Со стороны берега на одну из них поднялись и стали спускаться в лощину четверо в шлемах, волоча тяжелые мешки.

Лагерь виднелся саженях в сорока левее, в лощине. Там тоже шевелились фигуры. Значит, их не трое.

Ожидать помощи было неоткуда. Безучастный к своей судьбе и свершившейся судьбе Врагина, я машинально наклонился над ним. И широко раскрыл глаза. Врагин лежал на боку и ровно, глубоко дышал. Я лихорадочно осмотрел его вторично. Красноватое пятно заняло всю грудь. Я прикрыл голову спящего от палящих лучей, прилег рядом и сразу заснул.

V

Проснулся я от неприятного ощущения пристального взгляда. Держа в руках свое копьё, глазастый урод стоял в трех шагах, пристально вглядываясь мне в лицо, словно пытаясь что-то прочесть на нем. Совершенно инстинктивно я сжался, ожидая нападения. С минуту смотрели мы в глаза друг другу. Ни единой человеческой мысли, ни одного чувства не отражалось на этой живой маске.

Урод внезапно нагнулся, захватил горсть песка. Он указал на себя, в сторону моря, вверх и, отведя копьё и подбросив песок в воздух, пронзил на лету облако падающих песчинок. И неподвижно уставился на меня. Я тупо следил за его движениями. Что он говорил? Конечно, о себе. Но что? Быть может, о буре и молнии, ударившей в корабль? Я кивнул головой. Мой взгляд упал на конец опущенного копьё, и дрожь омерзения пробежала по телу, пальчики зеленой лягушечьей лапки обхватывали прут.

Монстр повернулся, быстро, не оглядываясь, зашагал к лагерю. Я проводил его равнодушным взглядом. Не пытаюсь объяснить факты, я принимал их, и только.

– Довольно спать! – услышал я сквозь сон смеющийся голос Врагина.

На его голове тюрбаном был навернут рукав, оторванный от нижней рубашки. Он выплюнул зеленую жвачку и протянул мне кусок кактуса со стертymi колючками.

– Хотите пить? Вместо воды пока. Да вот, – он оторвал второй рукав, – закройте голову!

С радостью я убедился, что Врагин остался прежним Врагиным.

Я со всеми подробностями рассказал ему происшедшее. Может, это неизвестное племя? Или болезнь – вроде пучеглазия?

Врагин покачал головой:

– Вряд ли. Это чужие... Идем к ним!

За извилистой лощиной открылся вид на лагерь. На тюках сидела одинокая фигура. Остальные пятеро суетились на большой дюне. Отражая солнечные лучи, поблескивала и искрилась сеть огромной паутины, раскинутой между тонкими кольями. Да они плетут сеть!.. Часовой, повернув голову, следил за нашим приближением, но за оружие уже не хватался.

Опасность нам, по-видимому, не угрожала.

Встревоженно засвистали птицы.

– Тогда тоже?!

– Что? – не понял я.

– Свистали пичужки?

– Все время. Но к чему...

– Они и тогда пересвистывались? – нетерпеливо перебил Врагин. – Ни слова не произносили? Значит, это они!.. И остальные отзываются... Отойдем... Пока.

Мы сели неподалеку. Я жевал и сосал кактус. Врагин строил догадки. Изредка у него срывались отдельные слова:

– Эволюция... Ящеры... Другой путь... Но шлемы?..

От лагеря донесся дикий визг и скрежет, точно работала круглая пила.

Врагин вскочил, застонал и, хромя, побрел к лагерю. Постоял там минут пять, повернулся и пошел обратно.

– В большой ящик вертикально вставлен короткий стержень, на стержне со страшной быстротой вращается туманный шар. Звуки – из ящика. – Он молча сел и задумался.

Пронзительный звук, не смолкая до самого заката, метался по лощине.

– Скоро отлив. Пора! Идем за ужином.

Мы перешли дюну возле сети на кольях. Шесть воткнутых в песок никелированных прутьев метра в два длиною огораживали круглую площадку диаметром в три-четыре метра. В центре стоял седьмой прут – короче. Тонкие нити проволоки соединяли верхние концы всех семи прутьев.

Возвращаясь, мы несли наловленных крабов, ракушек и сухих чурбаков с берега. Солнце быстро садилось за дюну, косая тень ползла к нам. Тень доползла и до лагеря. Звуки мгновенно замолкли.

Мы сидели у костра и хрустели печеными крабами. В сумерках видно было, как торопливо поднялись на дюну пять фигур и исчезли за серым гребнем.

– Видели? Отправились. И заметьте: отлив. Вы говорили, – утром тоже во время отлива ходили. И носили. Идем на разведку! Может, отчасти и разрешим загадку.

В сгущавшейся темноте внизу перед нами расстилалась знакомая прибрежная полоса. Пять черных пятнышек, временами сливаясь в одно, быстро приближались к воде. Прямо впереди над низкими волнами отлива возвышалась обнаженная морем черная громада. Ее можно было принять за плоский, но широкий подводный камень, если бы не туда именно направлялась пятерка из лагеря.

– Их затонувший корабль.

– Корабль, да. Но их ли? Не наш ли? И груз вроде с нашего корабля, – возразил я.

Часа через полтора при свете звезд они возвратились Молча прошли мимо нас. Но... ушли пятеро, вернулись шестеро. Обсуждая это обстоятельство, мы направились к тлевшим углям. Врагин завернул в лагерь и принес оттуда два больших шерстяных одеяла.

– Развязана целая кипа. Не отняли, – лаконично объяснил он.

VI

Через полчаса, перевернувшись на другой бок, я успел заметить, как на фоне звездного неба над лагерем что-то громадное плотным черным облаком взметнулось вверх и почти мгновенно скрылось в вышине.

Вспышки на дуне привлекли мое внимание. Голубые, зеленые, синие искры перескакивали между светившимися кольями, танцевали в проволочной сети паутины.

Я разбудил Врагина. Приподнявшись на локтях, мы наблюдали за мерцанием разноцветных огоньков.

Яркий метеор плавно скользнул по звездному своду, оставляя длинный след. Прямая черта тусклого света медленно таяла.

Внезапно Врагин вскочил: – Скорее! Туда! К ним! Скорее! Скорее!.. В лагере неторопливо шевелились силуэты. Часовые? Или там вовсе не спали? Врагин замедлил бег, – стремительное приближение могли счесть за нападение. Но к нашему приходу отнеслись равнодушно.

Врагин порывисто схватил руку ближайшего, потом нагнулся, захватил горсть песка и повторил жест уроды, разбудившего меня днем своим пристальным взглядом.

Эффект был поразительный. Нас окружили кольцом, разглядывая так, точно сейчас только увидели. Я придвинулся к Врагину, чтобы вместе встретить нападение. Совсем близко перед нами – страшные головы-паза. Зрачки, раздвинувшиеся до размера стекол больших карманных часов, отражали пляшущие искорки.

– Они недоброе задумали. – Мой голос осекся. – Ведь это в высшей степени неосторожно... – Я не окончил.

Врагин сжал мне плечо и почти закричал от охватившего его возбуждения:

– Вы ошибаетесь. Поймите же, черт возьми! Они другого, реального, чужого мира. Они так же естественны и нормальны, как мы.

Непоколебимая уверенность звучала в его голосе.

Темное облако проплотило луну. В набежавшей тьме выявилось незаметное при свете луны неравномерно пульсирующее сияние, фиолетовым ореолом стоявшее над ящиком. Оттуда доносились тихий писк и чирикание.

Один подошел к цилиндру, и вдруг пучок солнечных лучей залил лагерь.

Зрачки окружавших сузились опять в узкие разрезы, но весь облик их уже не казался мне теперь таким ужасным, как днем.

Стоявший рядом прикоснулся к полированному ящику – крышка мягко отскочила вверх. Я увидел тщательно уложенные кипы бумаг.

Дрожь овладела мною. Мы стояли на пороге одной из тайн вселенной, приподнималась завеса неведомого мира, затерявшегося в звездной пыли, в неизмеримой дали бесконечности.

VII

Открывший ящик взял узкий длинный лист и, указав на звездное небо, передал нам. Я жадно впился глазами. Сверху была изображена спиральная туманность. Ниже второй рисунок показывал ее ближе и уже не как туманность, а различимое звездное скопление с маленьким квадратом, обведенным красной линией. На третьем рисунке – увеличенный красный квадрат с несколькими десятками звезд, окружавшими небольшой синий треугольник, в котором была заключена одна звезда, ничем, впрочем, не отличавшаяся от других. На следующем – в большом синем треугольнике – горела голубым огнем яркая звезда, а еще ниже – звезда ясно распадалась на две.

Мы как бы мчались с быстротою мысли, пронизывая бездну вселенной, приближаясь к какой-то определенной точке.

На последнем рисунке оба светила сильно увеличенной двойной звезды были так искусно раскрашены, что я, точно заглянув в трубу сверхтелескопа, увидел два – голубое и оранжевое – солнца.

Под рисунком была схема их солнечной системы – две крошечные точки-песчинки кружились вокруг своих солнц.

Нарисованные сбоку два кружка разного диаметра, соединенные тонкими белыми линиями с точками на схеме, указывали сравнительные размеры планет. Меньшая планета была ближе к своему оранжевому солнцу, чем планета голубого солнца.

Рисунки и чертежи, чрезвычайно понятные, дополняли друг друга.

Вероятно, подобные случаи были предусмотрены, и все эти листы с картами и рисунками были специально изготовлены для снаряжавшейся экспедиции, чтобы облегчить объяснения с обитателями других миров.

Развернули большой широкий лист с восемью плоскошариями. Серебристые области обозначали воду, – мы поняли это по жесту в сторону моря.

Меньшая по размерам планета имела только небольшой клочок суши, – коричневый островок среди сплошного океана планеты. О нем рассказывал дополнительный цветной рисунок. Густые джунгли ярко-зеленых растений странной формы – скорее, трава, чем деревья, – поднимались со дна на огромную высоту над поверхностью вод. Лодка с двумя сидящими большеглазыми существами давала представление, как громадна высота морских джунглей.

Развернувший лист красноречивым жестом обвел кругом и заостренной металлической спицей нарисовал на таблице рядом с кружком планеты другой, почти равного диаметра, сравнивая величину Земли с размерами этой планеты.

На втором, таком же широком листе восемь плоскошарий показывали карту поверхности планеты голубого солнца обитателями которой были они. Здесь, кроме суши и воды, имелось множество других обозначений: красные пятна, зеленые поля, желтые полосы, черточки, точки, квадратики и кружки разной окраски и размера пестрым узором покрывали сушу и местами море. Прямые тонкие линии разного цвета перерезали воду. Пунктирные – сушу... Глаз открывал все новые и новые знаки. Все это ждало пояснений, понятны были только серебристые извивы рек.

Рядом посыпались сухие, щелкающие удары, словно два больших пустых ореха часто бились один о другой. Врагин выпрямился, как бы опомнившись. – Слушайте, – заговорил он отрывисто. – Ночью взвился аэростат. Шар – вместо мачты беспроводного телеграфа. Возможно, не первый. На дюне – звездчатая антенна. Этот, в шлеме, работает у аппарата. Они зовут кого-то. Значит, они не одни. Они торопятся связаться с теми, другими, которые мчатся со скоростью света, а может, еще быстрее. Они торопятся связаться, пока не разделило недосыгаемое даже для их воли пространство. Они не намерены остаться здесь, на нашей Земле, этой пылинке, к которой пристали лишь на краткий миг своего чудовищного полета и случайно потерпели аварию. Их жест с песком означает путь сквозь звезды. Нежные, разноцветные искры в антенне – ответ. Каждую минуту

можно ожидать появления тех, которые сейчас отвечали. Он схватился за голову.

– Наш долг перед человечеством, перед мировой культурой не потерять связи, не упустить возможность... Исключительный случай, может, один в тысячи лет. Надо быстро найти решение. Отойдем, здесь невольно будем отвлекаться.

Мы молча дошли до брошенных одеял. Врагин сел и отвернулся. Аппарат молчал. Через полминуты погас прожектор. Земная ночь окутала нас, окутала мраком.

VIII

И вдруг я увидел, как край облака, закрывавшего луну, закрутился, будто захваченный смерчем, и разорвался в клочья.

На дюне фейерверком посыпались искры, взметнулся клуб голубого пламени. Аппарат в лагере щелкнул пять раз подряд и смолк. Высоко вверху резким правильным кружком зачернело небольшое облако. Не теряя правильности очертаний и густоты, оно быстро увеличивалось в диаметре. Едва успел я понять, что через секунду оно упадет на нас, как гигантский черный круг навис над ложиной в десятках метров над землей. Плавно опустился еще ниже и неподвижно замер в воздухе.

Большой овал белого света с минуту лежал на песке вокруг нас, потом мигнул, дрогнул, погас. Снизу поднялся луч другого прожектора, осветил плоскую, движущуюся поверхность металла.

Из мрака выступил громадный, медленно и беззвучно вращавшийся наподобие грампластинки диск размером с арену большого цирка.

Потом корабль опустился еще ниже и плоским обширным сводом повис в воздухе сажень в трех над землей.

Ровная поверхность металла вверху и волнистый песок образовали обширную, но узкую щель; свет прожектора в центре как бы столбом поддерживал низкий потолок. Мы побежали к лагерю. В самом центре продолжавшего свое медленное вращение диска чернело отверстие круглого люка в широкой выпуклой оправе белого полированного металла.

Пока Врагин, жестикулируя, пытался что-то объяснить двум пытавшимся понять его большеглазым чужакам, я наблюдал за кораблем.

Из люка на двух тонких стержнях-трубках опустилась клеточка лифта. Едва один в шлеме вошел в нее, как клеточка взлетела и нырнула в черный люк. Вслед за этим вылез клубок перепутанных металлических суставов, вяло развернулся в огромную кисть руки, за кистью также лениво показался локоть, точно наверху, проснувшись, потягивался циклоп. Полуразжатые пальцы висели в аршине над землей. Внезапно ожив, рука поднялась, повернулась, металлическая кисть осторожно опустилась на два крайних тюка пальцы сжали их, как ястреб цыпленка, и в одно мгновение исчезли с добычей в люке.

Один большеглазый отправился на дюну – конечно, снимать антенну. Всё говорило о скором отправлении.

Мгновенная боязливая мысль вспыхнула и когтистым страхом вцепилась в сердце.

Что, если вдруг на секунду приостановит работу удивительная сила, вырванная у природы гением неизвестных существ и, закованная в броню металла, ударит о землю чудовищным молотом, поднятым сейчас над головой, страшная тяжесть нависшего корабля? На краткий миг сомкнется щель... Невообразимая боль раздробленных костей. Голова под неумолимым прессом. Хотелось выбежать из-под корабля на простор родной ночи. Но голос более сильный – голос человеческой гордости и разума – приказывал оставаться на месте до конца.

IX

Взволнованный, радостный возглас Врагина привлек мое внимание:

- Кончено! Добился!..
- Чего?.. Остаются? – обрадовался я.
- Нет, я с ними... Единственный выход. Через десять-двадцать лет я вернусь. За это время я сумею многое узнать.
- Но можете и не вернуться.

– Вернусь, верьте! Они летят наверняка! Целая эскадрилья. Позаботьтесь о Лиде.

Лифт снова безостановочно.

Механическая рука продолжала втаскивать грузы.

Потом стали подниматься наши недолгие соседи. Один протянул мне сложенную карту, служившую при последних объяснениях с Врагиным. Врагин пожал мне руку.

– Ждите! Передайте мой привет Лиде. Ну, она-то не забудет меня...

– Николай Иванович!..

Он не дал мне договорить.

– Да, я знаю. Я знаю вас и могу быть спокойным. Надеюсь на вас. Ждите... Мы опустимся на поляне за домом... Хоть через двадцать лет... Ждите...

Он еще раз пожал мне руку своей вздрагивающей рукой. Пустая клеточка опустилась. Врагин вошел. Мы обменялись последним рукопожатием. Я почувствовал под левой ладонью металл лифта, и клетка взвилась. Через секунду голова и плечи Врагина показались за перилами в люке.

– Прощайте!.. – закричал я.

Круглым зрачком зачернело, отверстие люка... Я услышал из темноты:

– До свидания!

Андрей Платонович Платонов

Эфирный тракт

Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Непотушенный свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы.

Сон больше не придет. Фаддей Кириллович одел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.

– Ну-с, Фаддей Кириллович, нажмем снова, – сказал он самому себе, – микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!

Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: это же, понимаете, мухоловка! И у меня все так, желтые граждане, – перо тычет, а не скользит, чернила – вода, бумага – рогожа! Это удивительно, господа!..

Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату, населенную немymi, но внимательными собеседниками. Мало того, он тихие вещи безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.

Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: заканчивай, заноза! А сам лег спать.

Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого незначительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.

Работал Фаддей Кириллович всегда бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.

Крысы утихли, потому что Фаддей Кириллович действительно забормотал:

– Поспешим, Фаддей! Поспешим, сатана души моей!.. Несомненно одно, что... что как только почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что... если железо начнет размножаться, то... эти, как их, женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько людей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность... Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..

Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.

Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовые дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.

– Идиоты! – не выдержал Фаддей Кириллович. – До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..

Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу:

– Какая-то стерва вторые сутки грызет! Только успокойсья, а уж какая-нибудь болячка появится! И вечно трудно человеку!..

В это время к Фаддею Кирилловичу постучали: Мокрида Захаровна, старушка, принесла Попову завтрак и пришла убирать комнату.

– Ну, как, Захаровна? Ничего там не случилось? Люди не вымерли? Светопреставление не началось еще? Погляди, спина у меня назади?..

– И что ты, батюшка, Фаддей Кириллович, говоришь? Опомнись, батюшка, – такого не бывает! Сидит-сидит, учится-учится – переучится, – и начинает ум за разуменье заходить! Поешь, голубчик, отдохни, ан и сердце отойдет, и дума утихнет...

– Да, Захаровна, да, Мокрида! Да, да, да! И трижды кряду – да! И еще раз – да!.. Ну, давай твою вкусную еду. Будем разводить гнилостные бактерии в двенадцатиперстной кишке, пускай живут в тесноте!.. А ты, старушка, ступай! Мне некогда, за кастрюлями придешь вечером, тогда и комнату уберешь. Вечером я уеду.

– Ох, батюшка, Фаддей Кириллович, дюже ты чуден да привередлив стал, замучил старуху!.. Когда ожидать-то вас?

– Не жди, ступай, считай меня усопшим!

Спешно поев, Фаддей Кириллович закурил и вдруг вскочил, – живой, стремительный и веселый. – Ага, вот где ты пряталось, существо, скотоложество и супрематия! Вылазь, божья куколка! Дыши, мое чучелко! Живи, моя дочка! Танцуй, Фаддей, крутись, Гаврила, колесо налево, оттормаживай историю! Эх, моя молодость! Да здравствуют дети, невесты и влажные красные жадные губы! Долой

Мальтуса и госпланы деторождения! Да здоровствует геометрическая и гомерическая прогрессия жизни!..

Тут Фаддей Кириллович остановился и сказал:

– Пожилой субъект ты, Фаддей, а дурак! Еле догадался, а уж благодетельствовать собираешься, самолюбивая сволочь! Садись к столу, сгною тебя работой, паршивый выродок!

Усевшись, Фаддей Кириллович, однако, почувствовал страшную пустоту в мозгу, будто там ливни работы смыли всю плодоносную почву и нечем было питаться зелени его творчества.

Тогда он начал писать частное письмо:

Профессору Штауферу, Вена.

Знаменитый коллега! Вы уже, без сомнения, забыли меня, который был Вашим учеником двадцать один год тому назад. Помните ли Вы звонкую майскую венскую ночь, когда в самом чутком воздухе была жажда научного творчества, когда мир открывался перед нами, как молодость и загадка! Помните, мы шли вчетвером по Националштрассе – Вы, два венца и я, русский, рыжеватый любопытствующий молодой человек! Помните, Вы сказали, что жизнь, в физиологическом смысле, наиболее общий признак всей прощупываемой наукой вселенной. Я, по молодости, попросил разъяснений. Вы охотно ответили: атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая – электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же! Я не забыл Ваших слов. Да и Вы не забыли: я читал Ваш труд, вышедший в этом году в Берлине, «Система Менделеева как биологические категории альфа-существ». В этом блестящем труде Вы впервые, осторожно, истинно научно, но уверенно доказали, что электроны подарены жизнью, что они движутся, живут и размножаются, что их изучение отныне изымается из физики и передается биологической дисциплине. Коллега и учитель! Я не спал три ночи после чтения Вашего труда! У Вас есть в книге фраза: «Дело техников теперь разводить

железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Я не знаю, освоена ли кем эта мысль так, как она освоена мной! Позвольте же, коллега, попросить у Вас разрешения посвятить Вашему имени свой скромный труд, всецело основанный на Ваших блестящих теоретических изысканиях и гениальных экспериментах.

Д-р Фаддей Попов, Москва, СССР.

Запечатав в конверт письмо и рукопись под несколько ненаучным названием «Сокрушитель адова дна», Фаддей Кириллович спешно утрамбовал чемодан книжками и отрывками рукописей, схематически бессознательно надел пальто и вышел на улицу.

В городе сиял электричеством ранний вечер. Круто замешанные людьми, веселые улицы дышали озабоченностью, трудным напряжением, сложной культурой и скрытым легкомыслием.

Фаддей Кириллович влез в таксомотор и объявил шоферу маршрут на далекий вокзал.

На вокзале Фаддей Кириллович купил билет до станции Ржавск. А утром он уже был на месте своего стремления.

От вокзала до города Ржавска было три версты. Фаддей Кириллович прошел их пешком: он любил русскую мертвую созерцательную природу, любил месяц октябрь, когда все неопределенно и странно, как в сочельник накануне всемирной геологической катастрофы.

Идя уже по улицам Ржавска, Фаддей Кириллович читал странные надписи на заборах и воротах, исполненные по трафарету: «Тара», «брутто», «Ю.З.», «болен», «на дорогу собств.», «тормоз не действ.». Оказывается, городок строился железнодорожниками из материалов, принесенных с работы.

Наконец Фаддей Кириллович увидел надпись «Новый Афон». Сначала он подумал, что это кусок обшивки классного вагона, потом увидел вырезанный из бумаги и наклеенный на окне чайник, заурядную личность в армяке, босиком вышедшую на двор по ясной нужде, и догадался, что это гостиница.

– Свободные номера есть? – спросил босого человека Фаддей Кириллович.

– В наличности, гражданин, в полной чистоплотности, в уюте и тепле!

– Цена?

– Рублик, рубль двадцать и пятьдесят копеек!

– Давай за полтинник!

– Пожалуйте наверх!

Проходя, Фаддей Кириллович заметил на том столе, где дежурил этот человек, книжку «Парь пар в мае – будешь с урожаем».

«Народ движется, – подумал Попов, – Петрушка у Гоголя Часослов читал, и то из любопытства, а не впрок».

* * *

В полдень Фаддей Кириллович пошел в окружной исполком. Он попросил у председателя свидания, причем переговорить желательно вдвоем.

Председатель его тотчас же принял. Это был молодой слесарь – обыкновенное лицо, любознательные глаза, острая жажда организации всего уездного человечества, за что ему слегка попадало от облисполкома. У председателя были замечательные руки – маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными умными пальцами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде. Лицом он был спокоен всегда, но руки его отвечали на все внешние впечатления.

Узнав, что с ним желает говорить доктор физических наук, он удивился, потом обрадовался и велел секретарю сейчас же открыть дверь, досрочно выпроводив завсемотделом, пришедшего с докладом о посеве какой-то клещевины.

Фаддей Кириллович показал председателю бумаги научных институтов и секций Госплана, рекомендующих его как научного работника, и приступил к делу:

– Мое дело просто и не нуждается в доказательствах. Моя просьба обоснована и убедительна и не может быть отвергнута. Пять лет назад в вашем округе производились большие изыскания на магнитную железную руду. Вам это известно. Она обнаружена на средней глубине двести метров. Руду с такой глубины добывать пока

экономически не выгодно. Она поэтому оставлена в покое. Я приехал сюда произвести некоторые опыты. Мне не нужно ни сотрудников, ни денег. Я только ставлю вас в известность и прошу отвести мне двадцать десятин земли – можно и неудобной. Район я еще не выбрал – об этом после, когда я вернусь из поездки по округу. Далее – чтобы вы знали, что я приехал сюда не шутить, я скажу вам: работы мои имеют целью, так сказать, подкормить руду – для того, чтобы она разжирела и сама выперла на дневную поверхность земли, где мы ее можем схватить голыми руками. В исходе опытов я уверен, но пока прошу молчать. Через три дня я выберу район и вернусь к вам. Вы поняли меня и согласны мне помочь?

– Понял совершенно. Держите руку, работайте – мы вам помощники!

В тот же день Фаддей Кириллович на подводе выехал в поле – отыскать условную высотную отметку экспедиции академика Лазарева, в районе которой магнитный железняк высовывает язык и лежит на глубине ста семидесяти метров. На вторые сутки Попов нашел на бровке глухого дикого оврага чугунный столб с условной краткой надписью: «Э.М.А. 38, 24, 168, 46, 22».

* * *

Через неделю Фаддей Кириллович прибыл на это место с землемером, который должен отмежевать участок в двадцать десятин, и Михаилом Кирпичниковым.

Кирпичникова рекомендовал Фаддею Кирилловичу председатель окрисполкома как совершенно идеологически выдержанного человека, а Попов увидел, что без помощника ему не обойтись.

Через три дня Попов и Кирпичников привезли из деревни Тыновки, что в десяти верстах, разобранную хатку и собрали ее на новом месте.

– Сколько мы здесь проживем, Фаддей Кириллович? – спросил Кирпичников Попова.

– Не менее пяти лет, дорогой друг, а скорее – лет десять. Это тебя не касается. Вообще не спрашивай меня, можешь каждое воскресенье уходить и радоваться в своем клубе...

И пошли беспримерные дни. Кирпичников работал по двенадцати часов в сутки: покончив дела со сборкой дома, он начал рыть шахту на дне балки. Попов работал не меньше его и умело владел топором и лопатой, даром что доктор физических наук. Так, в глубине равнинной глухой страны, где жили пахари – потомки смелых бродяг земного шара, трудились два человека: один для ясной и точной цели, другой в поисках пропитания, постепенно стараясь узнать от ученого то, чего сам искал, – как случайную нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной.

Попов молчал постоянно. Иногда он уходил на целый день в грязные ноябрьские поля. Раз Кирпичников слышал вдали его голос – живой, поющий и полный веселой энергии. Но возвратился Попов мрачный.

В начале декабря Попов послал Кирпичникова в областной город – купить по списку книг и всяких электрических принадлежностей, приборов и инструментов.

Через неделю Кирпичников возвратился, и Фаддей Кириллович начал делать какой-то небольшой сложный прибор.

Один только раз, поздно ночью, когда Кирпичников доливал керосин в лампу, Попов обратился к нему:

– Слушай, мне скучно, Кирпичников! Скажи-ка мне, кто ты такой, есть у тебя невеста, цель жизни, тоска, что-нибудь такое? Или ты только антропоид?

Кирпичников сдержался:

– Нет, Фаддей Кириллович! Ничего у меня нет, а хочу понять дело, которое делаете вы, но вы не говорите: это зря, я бы еще лучше работал. Я пойму, Фаддей Кириллович, честное слово!

– Оставь, оставь, ничего ты не поймешь! Ну, довольно, наговорились, ложись спать, а я посижу еще...

* * *

Фаддей Кириллович отправился в свою очередную прогулку – теперь уже по замерзающим недышащим полям. Кирпичников тесал на дворе сруб для укрепления шахты и вошел в хату за спичкой – закурить.

Подойдя к столу, он прочитал несколько слов из того, что писал Попов ночью, и, не зажегши спички, потерял все окружающее и забыл свое имя и существование.

Коллега и учитель! К 8-й главе той рукописи, которую я Вам выслал для просмотра, необходимо сделать добавление:

Из всего сказанного о природе эфира следует сделать неизбежные выводы. – Если электрон есть микроб, то есть биологический феномен, то эфир (то, что я назвал выше «генеральным телом») есть кладбище электронов. Эфир есть механическая масса умерщвленных или умерших электронов. Эфир – это крошево трупов микробов – электронов. С другой стороны, эфир не только кладбище электронов, но также мать их жизни, так как мертвые электроны служат единственной пищей электронам живым. Электроны едят трупы своих предков.

Несовпадение длительности жизни электрона и человека делает необычайно трудным наблюдение за жизнью этих, пользуясь Вашей терминологией, альфа-существ. Именно, время жизни электронов должно исчисляться цифрой пятьдесят – сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем у человека – высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое – как миг. Это «множество времен» – самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в

лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон.

Но все же можно ускорить жизнь электрона, если смягчить те явления, которые обусловили длительность его жизни. Необходимо предварительное разъяснение. Эфир, как установлено наукой, необычайно инертная, не реагирующая, лишенная основных свойств материи, сфера. Такая неощутимость и экспериментальная непознаваемость эфира объясняется тем, что «подобное познается подобным», а нет большего неподобия, чем человек и залежи трупов электронов, то есть эфир. Может быть, именно поэтому эфир «лишен» свойств материи, ибо между человеком и живым микробом – электроном – с одной стороны, и эфиром – с другой, есть принципиальное различие. Первые – живы, второй – мертв. Я хочу сказать, что «непознаваемость» эфира скорее психологическая, чем физическая задача.

Эфир, на правах «кладбища», не обладает никакой внутренней активностью. Поэтому те существа (микробы-электроны), которые им питаются, обречены на вечный голод. Питание их обеспечивается подгонкой свежих эфирных масс за счет посторонних случайных сил. В этом причина замедленности жизни электронов. Интенсивная жизнь для них невозможна: слишком замедлен приток питательных веществ. Это и вызвало замедление физиологических процессов в телах электронов.

Очевидно, ускорение подачи питания должно увеличить темп жизни электронов и вызвать их усиленное размножение. Существующая замедленность физиологических актов легко превратится, при благоприятных условиях питания, в бешеный темп, ибо электрон – существо примитивно организованное и биологические реформы в нем чрезвычайно легки.

Следовательно, одно изменение условий питания должно вызвать такую интенсивность всех жизненных отправлений электрона (в том числе и размножение), что жизнь этих существ станет легко наблюдаемой. Конечно,

такая интенсивность жизни будет идти за счет сокращения продолжительности жизни электрона.

Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона. Тогда электрон начнет продуцировать с такой силой, что его сможет эксплуатировать человек.

Но как вызвать свободный и усиленный приток питательного эфира к электронам? Как технически создать эфирный тракт – дорогу эфиру?..

Решение просто – электромагнитное русло...

На этом рукопись Попова обрывалась. Он ее еще не закончил. Кирпичников слова не все понял, но всю сокровенную идею Попова ухватил.

Фаддей Кириллович вернулся поздно. Тотчас же он лег спать, чего никогда не было. Кирпичников посидел еще немного, почитал книжку – «Об устройстве шахтных колодцев» – и ничего в ней не понял.

Есть мысли, которые сами собой ведут человека и командуют его головой, хочет он этого или нет – все едино. Спать еще не хотелось. Было душно и тревожно. Попов храпел и стонал во сне.

Кирпичников вынул из сундучка свой старый дневник – самодельно сшитую тетрадь, открыл и вчитался: «Март. 20. 9 часов вечера. Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога – и мне жалко, стыдно и мучительно. Захарушке 11 месяцев, его отняли от груди и питают одной моченой булкой. Какая сволочь жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни? Зачем я позволяю ей так мучать детей и мать... Надо жить для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам весь – будущее, темп и устремление. Таких мало, они затеряны, таких, может быть, нет. Но я для них живу и буду жить, а не для тех, кто гасит жизнь в себе чувственной страстью и душу держит на нуле».

Кирпичников вышел на двор, ухватил бревно и зашвырнул его в лог, как палку. Потом заскрипел зубами, застонал, вонзил топор в порог и улыбнулся. На дворе стояло одно дерево – лоза. Кирпичников подошел, обнял дерево – и их закачало обоим ночным ветром.

Когда ели утром жареный картофель, Фаддей Кириллович вдруг бросил есть и встал, веселый, полный надежды и хищной радости.

– Эх, земля! Не будь мне домом – несись кораблем небес!

В сметном исступлении крикнул Попов эти неожиданные слова и сам оторопел.

– Кирпичников! – обратился Фаддей Кириллович, – скажи: ты вошь, ублюдок или – мореплаватель? Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле – тогда держи руль свинцовыми руками, и не плачь на завалинке! Замолчи, сверчок! Мне известен курс и местоположение... Жуй и – на вахту!..

Кирпичников молчал. Попов болел малярией, бормотал во сне несбыточное, днем лютая злость в нем мгновенно переходила в смех. Работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия и легко колебалось настроениями. Кирпичников это знал и смутно беспокоился за него.

Одиночество, затерянность в несчетных полях и устремленность к одной цели еще более расшатало душевный порядок Попова, и с ним было тяжело работать. У Фаддея Кирилловича явилась еще страшная и неутомимая тоска по матери, хотя она умерла пятнадцать лет назад. Он ходил по комнате, вспоминал ее обувь в гробу, запах подола и молока, нежность глаз и всю милую детскую родину ее тела... Кирпичников догадывался, что это особая болезнь Попова, но поделать ничего не мог и молчал.

Так прошел месяц или два. Фаддей Кириллович работал все меньше и меньше, наконец, 25 января он совсем не поднялся утром и только сказал:

– Кирпичников! Вычисти хату и убирайся вон – я задумался!

Устроив домашние дела, Кирпичников вышел.

Степь пылила снегом – шла вьюга.

Кирпичников спустился в овраг и закрыл люк над шахтой, где Попов уже начал делать установку приборов. Вьюга свирепела – и на дворе от нее шевелился инвентарь. Деваться было некуда, и Кирпичников залез на тесный захламленный чердак. Снег свиристел и метался по крыше, и вдруг Кирпичникову послышалась тихая,

странная, грустная музыка, которую он слышал где-то очень давно. Отвлеченное плачущее чувство томилось и разрасталось от музыки до гибели человека. И будто эта растущая тоска и воспоминания были единственным утешением человека. Кирпичников прилег и занемог от этого нового робкого чувства, которого в нем никогда не было. Он забыл про стужу и, дрожа, нечаянно заснул. Музыка продолжалась и переходила в сновидение. Кирпичников почувствовал вдруг холодную тяжелую медленную волну, и в нем начало закатываться сознание, борясь и пробуждаясь, уставая от ужаса и собственной тесноты.

Проснулся Кирпичников сразу, будто кто ему крикнул на ухо или земля на что наткнулась и вдруг застопорила. Кирпичников вскочил, стукнулся о крышу и спустился во двор. Буран тряс землю, и, когда он разрывал атмосферу и показывал горизонт, были видны голые почерневшие поля. Снег сдувало в овраги и в глухие долины. Тут Кирпичников заметил, что дверь в хату открыта и туда мело снегом. Когда он вошел в комнату, то заметил бугор снега, и прямо на нем, а не на кровати, лежал мертвый Фаддей Кириллович Попов – бородой вверх, в знакомой жилетке, прильнувшей к старому телу, с печальным пространством на белом лбу. Снег его заметал все плубже, и ноги уже укрыло совсем.

Кирпичников, в полном спокойствии, схватил его под мышки и потащил на кровать. У Фаддея Кирилловича отвалилась нижняя губа, и он сам повернулся на бок на кровати и поник головой, ища места ближе к центру земли. Кирпичников затворил дверь и разгреб снег на полу. Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом. Кирпичников вылил остаток яда на снег – и снег зашипел, исчез газом, и яд начал проедать пол.

На столе, утвержденная чернильницей, лежала неоконченная рукопись: «Решение просто – электромагнитное русло...»

* * *

– Вы коммунист, товарищ Кирпичников? – спросил председатель окружного исполкома.

– Кандидат.

– Все равно. Расскажите, как это случилось? Вы понимаете, что это очень скверная история – не потому, что придется отвечать, а потому, что погиб очень ценный и редкий человек. Записки никакой не нашли?

– Нет.

– Ну, рассказывайте.

Кирпичников рассказал. В кабинете сидели, кроме председателя, еще секретарь комитета партии и уполномоченный ГПУ.

Кирпичникова слушали внимательно. Он рассказал все, даже содержание неоконченной рукописи, вьюгу, распахнутую дверь и странный косой наклон головы Попова, какого не бывает у живого. И еще, что Попов не очень отличался от живого, как будто смерть обыкновенна для него, как и жизнь.

Кирпичников кончил.

– Замечательная история! – сказал секретарь парткома. – Попов несомненный упадочник. Совершенно разложившийся субъект. В нем действовал, конечно, гений, но эпоха, родившая Попова, обрекла его на раннюю гибель, и гений его не нашел себе практического приложения. Растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия – все это жило в противоречии с научным гением Попова, и вот – какой конец.

– Да, – сказал председатель исполкома. – Прямо агитация фактами. Наука могущественна, а носители ее – вырожденки и убудки. Действительно, срочно необходимы свежие люди с твердой внутренней установкой...

– А ты только сейчас в этом убедился? – спросил уполномоченный ГПУ. – Чудород ты, брат! Наше дело, по-моему, теперь оформить следствие и затем, если не будет ничего противоречить словам Кирпичникова, назначить его хранителем научной базы Попова. Ну, надо немножко Кирпичникову платить за это. Ты, – обратился он к председателю, – из местного бюджета это устроишь! Затем, надо сообщить в тот научный институт, который командировал сюда Попова, чтобы выслали другого ученого для продолжения дела... А сохранить все надо в целости! Я пошлю сотрудника составить опись. Ведь там есть ценные приборы, рукописи Попова, кой-какой инвентарь и имущество...

– Верно, – сказал председатель. – Давайте на этом кончим. Я проведу все дело через президиум, и тогда зафиксируем наше постановление.

Через неделю закончили следствие, труп Попова отправили в Москву, а Кирпичникова назначили сторожем в научную усадьбу Попова, с окладом жалования пятнадцать рублей в месяц.

Кирпичникову вручили копию описи, и он остался один.

Начиналась ранняя заунывная весна – время инерции зимы и мужественного напора солнца.

Заместитель Попова никак не ехал. Кирпичников усердно читал и перечитывал книги и рукописи Попова, рассматривал приборы, построенные здесь же самим Поповым, – и перед ним открывался могучий мир знания, власти и жажды неутомимой жестокой жизни. Кирпичников начал ощущать вкус жизни и увидел ее дикую пучину, где скрыто удовлетворение всех желаний и находятся конечные пункты всех целей.

«Эх, хорошо! – думал Кирпичников. – Зря умер Попов: сам это писал и сам же не понимал. А стоит только понять – и всякому захочется жить...»

Наступило лето. Шло одно и то же. Новый ученый на место Попова не приезжал. Кирпичников начал переписывать рукописи Фаддея Кирилловича начисто, не зная сам для чего, – но так лучше ему понималось.

Наконец в июле приехали двое московских ученых и забрали все наследство Попова – и рукописи, и аппараты.

Кирпичников вернулся работать в черепичную мастерскую, и все кругом для него затихло. Но открывшееся ему чудо человеческой головы сбilo его с такта жизни. Он увидел, что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собственное беспокойное сердце – и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг. И вся жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кровную страсть.

Кирпичников пошел к председателю исполкома и заявил, что хочет учиться – пусть его отправят на рабфак.

– По следам Попова, сударь, желаете идти? Что же, путь приличный, валяйте! – и дал ему записку, куда следовало ее дать.

Через неделю Кирпичников шел в областной город – полтораста верст – на рабфак.

Стоял август. Поля шумели земледельцами, пылили стада по большаку, изумительное молодое солнце улыбалось разродившейся измученной земле.

Рыба играла на речных плесах, деревья чуть-чуть трогались желтой сединой, земля лежала голубым пространством в ту страну и в тот век, куда шел Кирпичников, где его ждало время, роскошное, как песнь.

* * *

Прошло восемь лет – срок, достаточный для полного преобразования мира, срок, в который человек перерождается начисто, вплоть до спинного мозга.

Михаил Еремеевич Кирпичников – инженер-электрик, научный сотрудник при кафедре биологии электронов, учрежденной после смерти Попова на основе его трудов.

Кирпичников женат и имеет детей – двух мальчиков. Его жена – бывшая сельская учительница, такая же сторонница немедленного физического преобразования мира, как и ее муж. Счастливая убежденность в победе любимой науки на всемирном плацдарме и помогла им пережить убийственные годы ученья, нужды, издевательства обывателей и дала смелость родить двух детей. Они верили, что наступает время, когда хлеба будет столько же, сколько воздуха. Кирпичников мозгом ощущал приближение этой раскованной эпохи, когда у человека освободятся руки от труда и душа от угнетения и он сможет перелепить мир.

Голодная и счастливая пребывала эта семья. Шел век социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра.

Освоившись с научной работой, Кирпичников не занял кафедры, а пошел, для тренировки, на практическую работу. Кроме высшего образования, Кирпичников имел стаж живой общественной работы и

был твердым и искренним коммунистом. Как умный и честный человек, как выходец из черепичной мастерской, он знал, что вне социализма невозможна научная работа и техническая революция. В его время это подразумевалось само собой, как подразумевается, но не сознается биение сердца в живом человеке.

Десять лет прошло со дня смерти Попова. Это сказать легко, но еще легче десять раз погибнуть в эти десять лет. Попробуйте описать эти десять лет во всем их крохоборстве борьбы, строительства, отчаяния и редкого покоя. Невозможно – состаришься, умрешь, а не исчерпаешь темы. Попробуйте в этом диком лесе человечества остаться свежим, мудрым и прямым! Невозможно. Поэтому и Кирпичников, которому был всего тридцать один год, густо поседел на висках и исполосовался морщинами.

В ответ на просьбу практической строительной работы Кирпичникова отправили в Нижнеколымскую тундру – производителем работ по постройке вертикального туннеля. Целью сооружения была добыча внутренней тепловой энергии земли.

Семью Кирпичников оставил в Москве, а сам отправился. Термический вертикальный туннель был опытной работой советского правительства Якутии. В случае успеха работ предполагалось весь край Азиатского материка за Полярным кругом покрыть целой сетью таких туннелей, затем блокировать их энергию посредством единой электропередачи, и на конце электрического провода продвигать культуру, промышленность и население к Ледовитому океану.

Но главная причина туннельных работ была в том, что в равнинах тундры были изысканы остатки неведомых великолепных стран и культур. Почва и подпочва тундры были не материнского, древнегеологического происхождения, а представляли собой наносы. Причем эти наносы покрыли погребальным покровом целую серию древнейших человеческих культур. А благодаря тому, что этот смертный покров над трупами таинственных цивилизаций представлял пленку вечной мерзлоты, погребенные люди и сооружения хранились, как консервы в банке, – целыми, свежими и невредимыми.

Уже то небольшое, что случайно найдено учеными в провалах рельефа тундры, представляло неслыханный интерес и вечную ценность. Найдены были трупы четырех мужчин и двух женщин. У

женщин сохранились розовые щеки и тонкий аромат легкой гигиеничной одежды. У одного мужчины в кармане найдена книга – маленькая, испещренная изящным шрифтом; ее предполагаемое содержание: изложение принципов личного бессмертия в свете точных наук; в книге описывались опыты по устранению смерти какого-то небольшого животного, срок жизни которого – четверо суток; сфера жизни этого животного (пища, атмосфера, тело и проч.) подвергалась беспрестанному воздействию целого комплекса электромагнитных волн; причем каждый вид волны был рассчитан на убийство отдельного рода губительных микробов в теле животного; так, держа жизнь подопытного животного в поле электромагнитной стерилизации, удалось добиться увеличения срока его жизни в сто раз.

Затем была найдена пирамидальная колонна из дикого камня. Совершенная форма ее напоминала работу токарного станка, но колонна была сорок метров высоты и десять метров в основании.

Трупы людей имели смуглые лица, розовые губы, низкий, но широкий лоб, небольшой рост, широкую грудную клетку и спокойную, мирную, почти улыбающуюся гримасу. Очевидно, или смерть застала их внезапно, или, что вероятнее, смерть была у них совсем другим чувством и другим событием, чем у нас.

Эти открытия разожгли научные страсти всего мира, и общественное мнение форсировало работы по культивированию тундры, с целью полной реставрации древнего мира, залегающего под почвой мерзлого пространства и, быть может, уходящего на дно ледовитого океана.

Страсть к знанию стала новым органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как зрение или любовь. Этим чувством иногда подменялись даже непреложные экономические законы и стремление к материальному благополучию общества.

Такова была истинная причина сооружения первого вертикального термического туннеля в тундре.

Система таких туннелей должна стать фундаментом культуры и экономики тундры, а затем ключом в подземные ворота – в мир неизвестной гармонической страны, нахождение которой ценнее изобретения паровой машины и открытия радиового Монблана.

Ученые думали, что тот отрезок науки, культуры и промышленности, который нам предстоит пройти в течение ближайших ста – двухсот лет, содержится готовым в недрах тундры. Достаточно снять мерзлую почву – и история сделает скачок на век или на два века вперед, а затем снова пойдет своим темпом. Зато какая экономия труда и времени произойдет от такой полочки задаром двух будущих веков! С этим не сравнится никакое историческое благодеяние человечества в прошлом! Ради этого стоило сделать дырку в земле, глубиной в два километра.

Кирпичников поехал, сжимая от радости кулаки, чувствуя цель, которую он должен выполнить, как всемирную победу и обручение древнейшей эры с сегодняшним днем.

Не просто была построена знаменитая скважина в тундре – человек мучается, мучит, ошибается и влечет ошибки других, гибнет и возрождается, – потому что он все-таки движется и лезет на стену истории и природы.

Но все же туннель был построен. Вот документ инженера Кирпичникова.

Центральному Совету Труда.
Управлению работ по сооружению
Вертикального Термического Туннеля в
Нижнеколымской тундре на 67 параллели.

ОБЩИЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ЗА 1934 ГОД

Термический Вертикальный Туннель (ь 1) окончен 2 декабря этого года. Туннель, как было задано, предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах; эта теплота, превращенная в электрический ток, должна обслуживать район под именем Тао-Лунь, площадью 1100 кв. километров, предназначенный для заселения, с целью работ по сплошному снятию почвенного и подпочвенного покрова с тундровского массива.

Туннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь тела земли. Ось его наклонена к плоскости экваториального сечения в 62° . Длина оси

туннеля 2080 метров. Диаметр широкого основания на дневной поверхности земли равен 42 метрам, усеченной вершины внутри земли – 5 метрам.

Достигнутая температура на дне туннеля – 184 °С (в том месте, где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1 января 1954 года, окончены 2 декабря того же года.

Формовка туннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в проекте, а электромагнитными волнами, отрегулированными соответственно микрофизической электронной структуре недр. Электромагнитные волны вибратора были настроены на такую длину и частоту, которые точно совпадали с естественными колебаниями электронов в атомах периферии земли; поэтому, от действия внешней дополнительной силы, увеличивался их размах и получался разрыв атомных орбит, вследствие чего наступала реконструкция ядра атома – его превращение в другие элементы – разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные, и в больших пределах регулируемые, резонаторы; нашли экспериментально среднюю волну каждой встречной породы недр, подлежащей разрушению (точнее, распылению, размягчению), – итак, разжевали ствол туннеля во всех поперечных сечениях.

Затем металлическими пятитонными ковшами, скреперного типа, на стальных тросах, мы выели получившуюся туннельную кашу. Впрочем, ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратились в газы и улетучились. Одинаково были мягкой пылью и газом – глина, вода, гранит, железная руда.

Всего извлечено твердыми остатками 400 тыс. куб. метров, 640 тыс. куб. метров ушло газами.

Образованное коническое жерло (не совсем точное) открыло 7 горизонтов грунтовых вод, 5-й был с морской водой, а 6-й и 7-й с материнскими геологическими сжатыми

водами, сильно газированными, с резкими целительными качествами.

Для откачки этой воды было образовано (взрывным способом, требовался точный профиль) 7 круглых террас внутри туннеля и установлены насосы-камероны с электрическими приводами. В общей сложности они подавали 120 тыс. куб. метров воды в час. Очистка туннеля от воды – главного препятствия работам – получалась довольно полная, вследствие равновесия между фильтрацией и откачкой воды.

После этого было приступлено (в августе месяце) к проектной формовке туннеля. Благодаря высокой температуре люди опускались только до 1000-ного метра; глубже работа производилась на тросах: посредством их устанавливались насосы, рылись кюветы и водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпательные ковши на формовке склонов. Дно и ствол туннеля покрыты термоизолятом сплошь, начальной толщиной слоя (у поверхности земли) в 2 сантиметра и конечной в 1,25 метра.

После сооружения туннеля собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно туннеля и установлены – батарея над батареей – в двенадцать этажей.

Батареи после месячной контрольной работы показали способность непрерывной отдачи по 172800 тыс. киловатт-часов в год, иначе говоря, мощность батареи равна 28000 лошадиных сил.

Концы проводов закреплены на выводящих кронштейнах у поверхности земли, и ток в них ждет своего потребителя.

Энергия пока пущена в почву тундры – тундра тает; тает в первый раз после того, как был ею накрыт и сохранен для нас тот странный и чудесный мир, ради которого, по распоряжению Центрального Совета Труда, была добыта внутренняя теплота земного шара.

Глав. инж. Верт. Термтуннеля – Вл. Крохов.

Производитель работ – инженер М. Кирпичников.

№ 2/А, 4 ноября 1934

Вернулся к семье Кирпичников только в апреле месяце, пробыв в отсутствии восемнадцать месяцев.

Он чувствовал себя переутомленным и собирался поехать с женой и мальчишками куда-нибудь в деревню.

Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой; если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувствием.

Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно.

Так бывало у Кирпичникова. Если разгоралось время весны, таял снег и ручьям подпевали южные птицы с неба, Кирпичников был доволен. Когда же неожиданно возвращался снег, заморозки и мрачное молчаливое зимнее небо, Кирпичников печалился и напрягался.

Двадцать восьмого апреля Кирпичниковы поехали в Волошино – дальнюю деревню Воронежской губернии, где когда-то учительствовала Мария Кирпичникова, жена Михаила.

У Марии там были девичьи воспоминания, одинокие годы, милые дни прозревающей души, впервые боровшиеся за идею своей жизни. В оправе скудных волошинских полей лежала душевная родина Марии Кирпичниковой.

Михаила Кирпичникова влекла в Волошино любовь к жене и ее тихому прошлому, а еще то, что около Волошина, в соседнем селе Кочубарове, жил Исаак Матиссен, инженер-агроном, знакомый Кирпичникова. Когда-то, в годы ученья в институте, Кирпичников встречался с ним, и они говорили на близкие им технические темы. Матиссен ушел со второго курса электротехнического института и поступил в сельскохозяйственную академию. В Матиссене Кирпичникова интересовала его теория техники без машин, – техники, где универсальным инструментом был сам человек. Матиссен, человек чести, единой идеи и несокрушимого характера, поставил целью своей жизни осуществление своей мысли.

Теперь он был заведующим Кочубаровской опытно-мелиоративной станцией. Кирпичников не видел его шесть лет – чего

он добился, неизвестно, но что он старался добиться всего, в этом Кирпичников был уверен.

Уезжая в Волошино, Кирпичников заранее радовался встрече с Матиссеном.

От того Михаила Кирпичникова, который жил когда-то в Гробовске^[10], работал в черепичной мастерской, искал истину и мечтал, осталось немного. Мечты превратились в теории – теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира.

Но одно тревожило Кирпичникова и толкало его на беспокойные изыскания всюду – среди книг, среди людей и чужих научных работ. Это – жажда закончить труд погибшего Попова об искусственном размножении электронов-микробов и технически исполнить эфирный тракт Попова, чтобы по нем прилить эфирную пищу к пасти микроба и вызвать в нем бешеный темп жизни.

– «...Решение просто – электромагнитное русло...» – бормотал время от времени Кирпичников последние слова неоконченной работы Попова и тщетно искал того явления или чужой мысли, которые бы навели его на разгадку «эфирного тракта». Кирпичников знал, что может дать людям этот эфирный тракт: можно вырастить любое тело природы до любых размеров за счет эфира. Например, взять кусочек железа в один кв. сантиметр, подвести к нему эфирный тракт, и этот кусочек железа на глазах начнет расти и вырастет в гору Арарат, потому что в железе начнут размножаться электроны.

Несмотря на усердие и привязанность к одной проклятой мысли, решение эфирного тракта не давалось Кирпичникову уже много лет. Работая в тундре на термическом туннеле. Кирпичников думал всю долгую, беспокойную, тревожащую полярную ночь все об одном и том же. Его путала еще одна загадка, не решенная в трудах Попова: что такое положительно заряженное ядро атома, в котором присутствует материя?

Если чистые отрицательные электроны и есть микробы и живые тела, то что такое материальное ядрышко атома, к тому же положительно заряженное?

Этого никто не знал. На это были смутные указания и сотни гипотез в научных работах, но ни одно из них не удовлетворяло Кирпичникова. Он искал практического решения, объективной

истины, а не субъективного удовлетворения первой попавшейся догадкой, – может быть, и блестящей, но не отвечающей строению природы.

В Волошино Кирпичников поехал на своем автомобиле, который в его время стал орудием каждого человека. Хотя от Москвы до Волошина лежала линия в девятьсот километров, Кирпичников решил ехать на автомобиле, а не в купе вагона. Его с женой влек к себе мало известный путь, ночевки в поселках, скромная природа равнинной северной страны, мягкий ветер в лицо – вся прелесть живого мира и постепенное утопание в безвестности и задумчивом одиночестве.

Они поехали. Машина «алгонда-09» работала бесшумно: бензиновый мотор погиб пять лет назад, сокрушенный кристаллическим аккумулятором ленинградского академика Иоффе. Автомобиль шел на электрической аккумуляторной тяге и только тихо шипел покрышками по асбестоцементному шоссе. Запас энергии «алгонда» имела на десять тысяч километров пути, при весе аккумуляторов в десять килограммов.

И вот развернулась перед путешественниками чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культур, идя дорогой мысленного созерцания. Будда, составители вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец, Бергсон и Шпенглер – все силились догадаться про существо вселенной. А вся суть в том, что догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преобразаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившаяся восемнадцать лет назад и не совсем оконченная и сейчас.

Понять – это значит прочувствовать, прощупать и преобразить, – в эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему питала душу и делала волю боеспособным инструментом.

Кирпичников вел «алгонду», улыбался и наблюдал. Мир был уже не таким, каким его видел Кирпичников в детстве – в глухом Грбовске. Поля гудели машинами; за первые двести километров пути он встретил шесть раз линию электропередачи высокого напряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое лицо – вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бревен в строительство

вошли черепица, железо, кирпич, толь, террезит, цемент, наконец, дерево, но пропитанное особым составом, делающим его негорючим. Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма. Искусственное орошение получило распространение до московской параллели. Дождевательные машины встречались так же часто, как пахотные орудия. На север от Москвы дождеватели исчезали, и появлялись дренажные осушительные механизмы. И дождеватели и осушители напоминали по внешнему виду тракторы.

Жена Кирпичникова показывала детям эту живую экономическую географию социалистической страны, и сам Кирпичников с удовольствием ее слушал. Трудная личная жизнь как-то погасила в нем эту простую радость видеть, удивляться и чувствовать наслаждение от удовлетворения любознательности.

Только на пятый день они приехали в Волошино.

В доме, где остановились Кирпичниковы, был вишневый сад, который уже набух почками, но еще не оделся в свой белый неопикуемый трогательный наряд.

Стояло тепло. Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества.

Через день Кирпичников поехал к Матиссену.

Исаак совсем не удивился его приезду.

– Я каждый день наблюдаю гораздо более новые и оригинальные явления, – пояснил Матиссен Кирпичникову, поняв его недоумение равнодушным приемом.

Через час Матиссен немного отмяк.

– Женатый, черт! Привык к сентиментальности. А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем дети!.. – И Матиссен засмеялся, но так ужасно, что у него пошли морщины по лысому черепу. Видно, что смех его столь же част, как затмение солнца.

– Ну, рассказывай и показывай, чем живешь, что делаешь, кого любишь! – улыбнулся Кирпичников.

– Ага, любопытствуешь! Одобрю и приветствую!.. Но слушай, – я тебе покажу только главную свою работу, потому что считаю ее законченной. Про другие говорить не буду – и не спрашивай!..

– Послушай, Исаак! – сказал Кирпичников, – меня бы интересовала твоя работа над темой техники без машины, помнишь? Или ты уже забыл эту проблему и разочаровался в ней?

Матиссен пожмурился, хотел сострить и удивить приятеля, но, позабыв все эти вещи, тщетно вздохнул, сморщил лицо, привыкшее к неподвижности, и просто ответил:

– Как раз это я тебе и покажу, коллега Кирпичников!

Они прошли плантации, сошли в узкую долину небольшой речки и остановились. Матиссен выпрямился, приподнял лицо к горизонту, как будто обозревая миллионную аудиторию на склоне холма, и заявил Кирпичникову:

– Я скажу тебе кратко, но ты поймешь: ты электрик, и это касается твоей области! Только не перебивай: мы оба спешим – ты к жене (Матиссен повторил свой смех – лысина заволновалась морщинами и челюсти разошлись, в остальном лицо не двигалось), а я – к почве.

Кирпичников промолчал и предложил свой вопрос:

– Матиссен, а где же приборы? Ведь мне хотелось бы не лекцию прослушать, а увидеть твои эксперименты!

– И то и другое, Кирпичников, и то и другое! А все приборы налицо! Если ты их не видишь, значит, ты ничего и не услышишь и не поймешь!

– Я слушаю, Матиссен! – кратко поторопил его Кирпичников.

– Ага, ты слушаешь! Тогда я говорю. – Матиссен поднял камешек, изо всех сил запустил его на другую сторону речки и начал: – Видно даже очам, что всякое тело излучает из себя электромагнитную энергию, если это тело подвергается какой-нибудь судороге или изменению. Верно ведь? И каждому изменению – точно, неповторимо, индивидуально – соответствует излучение целого комплекса электромагнитных волн такой-то длины и таких-то периодов. Словом, излучение, радиация, если хочешь, зависит от степени изменения, перестройки подопытного тела. Дальше. Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, заставляет мозг излучать в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек конкретно подумал, – от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга. А от изменения строения или состояния мозга уже зависят волны: какие

они будут. Мыслящий, разрушающий мозг творит электромагнитные волны, и творит их в каждом случае по-разному: смотря какая мысль перестраивала мозг. Тебе все ясно, Кирпичников?

– Да, – подтвердил Кирпичников, – дальше!

Матиссен сел на кочку, потер усталые глаза и продолжал:

– Опытным путем я нашел, что каждому роду волны соответствует одна строго определенная мысль. Я, понятно, несколько обобщаю и схематизирую, чтобы ты лучше понял. На самом деле все гораздо сложнее. Так вот. Я построил универсальный приемник-резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода. Но скажу тебе, что даже одной, самой незначительной и короткой мыслью вызывается целая сложнейшая система волн.

Но все же мысли, скажем, «окаянная сила» (помнишь этот дореволюционный термин?) соответствует уже известная, экспериментально установленная система волн. От другого человека она будет лишь с маленькой разницей.

И вот, свой приемник-резонатор я соединил с системой реле^[11] и исполнительных аппаратов и механизмов, сложных по технике, но простых и единых по замыслу. Но эту систему надо еще более усложнить и продумать. А затем распространить по всей земле для всеобщего употребления. Пока же я действую на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Теперь гляди! Видишь, на том берегу у меня посажена капустная рассада. Видишь, она уже засохла от бездождия. Теперь следи: я четко думаю и даже выговариваю, хотя последнее не обязательно: о-р-о-с-и-т-ь! Гляди на другой берег, голова!..

Кирпичников всмотрелся на противоположный берег речонки и только сейчас заметил полузакрытую кустом небольшую установку насосного орошения и какой-то компактный прибор. Вероятно, приемник-резонатор, догадался Кирпичников.

После слова Матиссена – оросить – насосная установка заработала, насос стал сосать из речки воду, и по всему капустному участку из форсунок-дождевателей забились маленькие фонтанчики, разбрызгивающие мельчайшие капельки. В фонтанчиках заиграла радуга солнца, и весь участок зашумел и ожил: жужжал насос, шипела влага, насыщалась почва и свежели молодые растеньица.

Матиссен и Кирпичников молча стояли в двадцати метрах от этого странного самостоятельного мира и наблюдали.

Матиссен ехидно посмотрел на Кирпичникова и сказал:

– Видишь, чем стала мысль человека? Ударом разумной воли! Не правда ли?

И Матиссен уныло улыбнулся своим омертвевшим лицом.

Кирпичников почувствовал горячую жгущую струю в сердце и в мозгу – такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость – чувства, которые присущи каждому убийце, даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насилует природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков.

Матиссен разъяснил:

– Вся штука чрезвычайно проста! Человек, то есть я, в данном случае находится в сфере исполнительных механизмов, и его мысль (например, «оросить») есть в плане возможности исполнительных машин: они так построены. Мысль – оросить – воспринимается резонатором. Этой мысли соответствует строгая неповторимая система волн. Именно только волнами такой-то длины и таких-то периодов, какие эквивалентны мысли «оросить», замыкаются те реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением. То есть там прямо замыкается ток и начинает действовать агрегат электромотор-насос. Поэтому через миг после мысли человека – оросить – под корнями капусты уже блестит вода.

Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, что надо, чтобы звезда переменяла путь... Но я хочу добиться, чтобы обойтись без исполнительных механизмов и без всяких посредников, а действовать на природу прямо и непосредственно – голой пертурбацией мозга. Я уверен в успехе техники без машин. Я знаю, что достаточно одного контакта между человеком и природой – мысли, – чтобы управлять всем веществом мира! Понял?.. Я поясню. Видишь, в каждом теле есть такое место, такое сердечко, что если дать по нем щелчком – все тело

твое: делай с ним что хочешь! А если язвить тело как нужно и где нужно, то оно будет само делать то, что его заставишь! Вот я считаю, что той электромагнитной силы, которая испускается мозгом человека при всяком помышлении, вполне достаточно, чтобы так уязвлять природу, что эта Маша станет нашей!..

Кирпичников на прощанье сжал руку Матиссену, а потом обнял его и сказал с горячим чувством и полной искренностью:

– Спасибо, Исаак! Спасибо, друг! Знаешь, только одна еще есть проблема, которая равна твоей! Но она еще не решена, а твоя почти готова... Прощай! Еще раз спасибо тебе! Надо всем работать, как ты – с резким разумом и охлажденным сердцем! До свиданья!

– Прощай! – ответил Матиссен и полез вброд, не разуваясь, на ту сторону своей маловодной речонки.

* * *

Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир сотрясала сенсация. В Большеозерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали обнявшись на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшихся вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и люди, обнаруженные в Нижнеколымской тундре. То же выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, – будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.

Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти. Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были найдены две книги, – одна была напечатана тем же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикой, однако с очень точным

соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого книга была переведена и издана под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной: какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы – они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.

Содержание найденного произведения было отвлеченно-философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в течение двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.

Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного – помощи для разгадки эфирного тракта.

Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось – и Кирпичников увидел, что работы Матиссена имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.

Получив книгу. Кирпичников углубился в нее, томимый одною мыслью, ища между строк неясного намека на решение своей мечты. Несмотря на дикость, на безумие искать поддержки в открытии эфирного тракта у большеозерской культуры, Кирпичников с затаенным дыханием прочел сочинение мертвого философа.

Сочинение не имело имени автора, называлось оно «Песни Аюны». Прочитав его, Кирпичников ничему не удивился – ничего замечательного в сочинении не содержалось.

– Как скучно! – сказал Кирпичников. – И в тундре ничего путного не думали! Все любовь, да творчество, да душа, а где же хлеб и железо?..

* * *

Кирпичников сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует. Ему случилось уже тридцать пять лет. Построенные им приборы для создания эфирного тракта

молчали и подчеркивали заблуждение Кирпичникова. Фразу Попова – «Решение просто – электромагнитное русло» – Кирпичников всячески толковал посредством экспериментов, но выходили одни фокусы, а эфирного пищепровода к электронам не получалось.

– Так-с! – в злобном исступлении сказал себе Кирпичников. – Следовательно, надо заняться другим! – Тут Кирпичников прислушался к дыханию жены и детей (была ночь и сон), закурил, прислушался к шуму Тверской за окном и сразу зачеркнул все. – Тогда тебе надо пуститься пешему по земле, ты гниешь на корню, инженер Кирпичников! Семья? Что ж – жена красива, новый муж к ней сам прибежит, дети здоровы, страна богата – прокормит и вырастит! Это единственный выход, другой – смерть на снежном бугре у распахнутой двери: выход Фаддей Кирилловича!.. Да-с, Кирпичников, таковы дела!

Кирпичников вздохнул с чрезвычайной сентиментальностью, а на самом деле искренне и мучительно.

– Ну что я сделал? – продолжал он шепотом ночную беседу с самим собой. – Ничего. Туннель? Чепуха: сделали бы и без меня. Крохов был талантливее меня. Вон Матиссен – действительно работник! Машины пускает мыслью! А я... а я обнял жизнь, жму ее, ласкаю, а никак не оплодотворю... Будто женился человек, а сам только с виду мужчина и обманул жену...

Кирпичников тут спохватился:

– Философствуете, сударь? В отчаяние впали? Стоп! Это, брат, нервы у меня расшились: простая физиологическая механика, субъективно не имеющая страдания... Так зачем же ты страдаешь?

Зазвонил неожиданно и не вовремя телефон:

– У телефона Крохов. Здорово, Кирпичников!

– Здравствуй, что скажешь?

– Я, брат, получил назначение. Еду на Фейссуловскую атлантическую верфь: первое компрессорно-волновое судно строить. Знаешь эту новую конструкцию: судно идет за счет силы волн самого океана! Проект инженера Флювельберга.

– Ну, слышал, а я-то при чем тут?

– Что ты бурчишь? У тебя изжога, наверно! Чудак, я еду плавным инженером верфи, а тебя вот зову своим заместителем! Я ведь

корабельщик по образованию – справимся как-нибудь, и сам Флювельберг будет у нас! Ну как, едем?

– Нет, не поеду, – ответил Кирпичников.

– Почему? – спросил пораженный Крохов. – Ты где работаешь-то?

– Нигде.

– Ну, смотри, парень! Пройдет изжога, пожалеешь! Я подожду неделю.

– Не жди, не поеду!

– Ну, как хочешь!

– Прощай.

– Спокойной ночи.

Кирпичников прошел в спальню. Постоял молча в дверях, потом надел старое пальто, шляпу, взял мешок и ушел из дому навсегда. Он ни о чем не сожалел и питался своей глухой тревогой. Он знал одно: устройство эфирного тракта поможет ему опытным путем открыть эфир, как генеральное тело мира, все из себя производящее и все в себя воспринимающее. Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу вселенной и даст себе и людям горячий ведущий смысл жизни. Это старинное дело, но мучительны старые раны. Только людские ублюдки кричат: нет и не может быть смысла жизни – питайся, трудись и молчи. Ну, а если мозг уже вырос и так же страстно ищет своего пропитания, как ищет его тело? Тогда как? Тогда – труба, выкручивайся сам, в этом мало люди помогают.

Вот именно! Найдите вы человека, который живет не евши! Кирпичников же вошел в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания, и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола!

Может быть, человек, незаметно для себя, рождал из своих недр новое великолепное существо, командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное! Наверное, так. И первым мучеником и представителем этого существа – был Кирпичников.

Кирпичников пошел пешком на вокзал, сел в поезд и поехал на свою забытую, заросшую забвением родину – Гробовск. Там он не был двенадцать лет. Ясной цели у Кирпичникова не было. Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его

мысль на открытие эфирного тракта. Он питался бессмысленной надеждой обнаружить неизвестный рефлекс в пустынном провинциальном мире.

Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке.

* * *

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра – это апокалипсическое явление, кто читал древнюю книгу – Апокалипсис. Идет смутное столпотворение гор сырого воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженьях движутся стены туманов, и ум пешехода волнует скучная злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в деревне, может присниться жуткий сон.

И действительно, по дороге, выпавшись в ближней деревне, шел человек. Кто знает, кем он был. Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему – в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утоляя не желудок, а смазывая и охлаждая перегретое сердце.

Очнувшись, человек зашагал сызнова, глядя как напуганный.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случилось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший молчаливый человек и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась, и обнаружилось небольшое село – дворов пятнадцать.

Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо был утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилище и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, житель Гробовского округа, взгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

– Феодосий! Ньюжли возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми умными глазами и ответил:

– Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благочестия – тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает – кто ее щупал – душу свою...

– Што ж, хорошо на Афоне? – спросил Михаил Кирпичников.

– Конечно, там земля разнообразней, а человек – стервец, – разъяснял Феодосий.

– Что ж теперь делать думаешь, Феодосий?

– Так чохом не скажешь! Погляжу пока, – шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить! А ты куда уходишь, Михаил?

– В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход!

– Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

– А то как же!

– Стало быть, дело твое сурьезное?

– А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

– Видать, туго задумал ты свое дело?

– Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

– Дело твое крупное, Михайла...

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не ходи никуда, живи

молча в укромном месте!

Михаил и Феодосий разулись, развесили мокрые портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

– Что-то дует! Михайла, захлобысни дверь! – сказал Феодосий.

Устроив это, Михаил спросил:

– Небось тепло теперь в Афонском монастыре! Небось покойно живется там. Чего сбежал из монахов?

– Оставь, Михаил, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти – говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей, и как-то жалко станет. Помнишь, трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось кость да волос остались в могиле... Эх, жутко мне чего-то, Михаил!.. Оставайся ночевать, может, дорога к утру завокнет...

– И то останусь, Феодосий. Этак до Риги не дойдешь!

– Вари картохи! Жрать с горя тянет...

Уснувши спозаранок, Феодосий и Михаил проснулись ночью. Огня в хате не было; за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, и они лежали и скучали, как люди.

Почуяв, что Михаил не спит, Феодосий спросил:

– Из Америки-то думаешь возвращаться?

– Затем и еду, чтоб вернуться.

– Едва ли: дюже далеко!

– Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!

– Мудрому делу скоро не обучишься.

– Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!

– Насчет чего же дело твое?

– Пыточный ты человек, Феодосий, был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал...

– Это истинно, кому что!

– Мужикам одно нужно – достаток! У нас ржи – хоть топи ей, а все не богато живем и туго идем на поправку. В этом году рожь до двугривенного доходила – вот тебе и урожай!

– А чего же ты задумал?

– Слышал про розовое масло? – неожиданно для себя выпалил Кирпичников, смутно вспомнив какую-то старую, давно слышанную

историю. И это его спасло, потому что ясного ответа – на вопрос о своем странствии – он не имел даже для себя.

– Слышал – гречанки тело мажут им для прелести.

– Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают – человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают – я по книжке изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена – по тыще рублей в год чистого прибытка десятина дает! Вот где, Феодосий, мужицкое счастье...

Михаил говорил зажмурившись, в избытке благородного чувства, но думая совсем о другом. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело, он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

– Куда ты? – спросил Феодосий.

– Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул – и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!

– Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.

– Нет, пойду, день и так короток!

– Ну, как хочешь... Ты, стало быть, в Америке хочешь узнать, как розовое масло делается?

– Догадался? А ты думал, я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Феодосий, благоухание какое будет – все болезни пропадут!..

– Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим – подышим! Много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!

Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен ночевкой, Феодосием – восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера – и своей хорошей беседой с ним. Но в этой беседе была и правда – Кирпичников на самом деле собрался в Америку, ища там невиданных новостей жизни, заранее им радуясь, чувствуя в себе необъяснимое освобождение.

Пройдя сквозь европейский кусок СССР, Михаил достиг Риги. Он шел четыре месяца. Задерживала его не столько дальность дороги, сколько заработки по хуторам, где он поденно батрачил. Как только он зарабатывал пищи на неделю, он бросал хозяина с его заботами и уходил в направлении Балтийского моря.

В Риге в Михаиле Кирпичникове проснулся инженер. Его поразила прочность домов – ни ветер, ни вода такие постройки не возьмет, – одно землетрясение может поразить такие монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непрочность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то про это не думал. Еще удивил Михаила этот город стройной задумчивой торжественностью зданий и крепкими спокойными людьми. Несмотря на образование и жизнь в Москве, в Кирпичникове сохранилась первобытность и способность удивляться простым вещам. Михаил нечаянно для себя подумал, что действительно нежное масло душистых и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины и в этих зданиях поселятся довольные вежливые мужики.

Так, незаметно, голова Кирпичникова переводилась на другую идею, чтобы дать отдых первой.

По ровным цементным дорогам побегут чистоплотные автомобили, шурша узорной резиной, развозя мужиков в гости к кумовьям верст за двести и далее. Феодосий, наверное, тогда женится, купит сто пудов бензину и поедет в Месопотамию смотреть остатки обители умершего бога.

Хорошо будет. Встанешь утром, воткнул рычаги, повернул кнопки – жарится завтрак, греется чай, насос пыль из комнаты высасывает, в руках находится умная книга. Женщину не за что терзать, и ей нечего мучиться, борясь с неуютностью жизни, – и женщина тогда порозовеет щеками, потому что в поле будут расти розы, а не рожь. Женщина тогда станет настоящей матерью могучих людей, которые народятся в мир и дадут ему здоровье и покойную силу. Будущие женщины станут похожими на своих сестер, откопанных в тундре.

Михаил ходил по Риге и улыбался от удовольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль всеобщего богатства и здоровья. Ходил он столько дней, пока у него не вышли харчи; тогда он пошел в порт.

Кирпичников окончательно убедился, что розы – верная мысль и надежный источник народного обогащения. Еще далеко не все богаты были, даже в Советской стране.

Голландский пароход «Индонезия», сгрузив индиго, чай и какао, грузился лесом, деревообделочными машинами, пенькой и разными изделиями советской индустрии. Из Риги он должен идти в

Амстердам, там он произведет текущий ремонт машин, а затем уйдет в Сан-Франциско, в Америку.

Михаила Кирпичникова взяли на него помощником кочегара – подкидчиком угля, потому что Кирпичников согласился работать за половинную цену.

Через десять дней «Индонезия» тронулась, и перед Михаилом Ковалем^[12] открылся новый могучий мир пространства и бешеной влаги, о котором он никогда особенно не думал.

Океан неопишум. Редкий человек переживает его по-настоящему, тем чувством, какого он достоин. Океан похож на тот великий звук, который не слышит наше ухо, потому что у этого звука слишком высок тон. Есть такие чудеса в мире, которые не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.

Вид океана снова убедил Михаила в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать эфирный тракт, а вечная работа воды заряжала его энергией и упорством.

Эфир уже сочетался с розой в сознании Кирпичникова, и, экономя образ, он иногда воображал себе розу, опущенную в синий дух эфира.

В Сан-Франциско Кирпичникову посоветовали идти в Калифорнию – там есть округ Риверсайда, где много лимонных садов и цветоводов. Там именно и занимаются выгонкой розового масла, и имеется для этого большой завод.

И Кирпичников двинулся вдоль Америки.

У одного фермера, где Кирпичников нанялся на прочистку сада, была дочь. Михаилу она очень понравилась, до того она была ласковая и милостивая. Ее звали Руфью. Руфь была прилежна в работе, имела твердые руки и смело водила «форд». Она же заведовала всеми машинами и орудиями на ферме и была за машиниста на водокачке, которая подавала воду на орошение сада. Руфь была русая, голубоглазая и по характеру, по сердечности и серьезности напоминала русскую.

И Кирпичников захотел остаться на ферме. Отец Руфи ценил прилежание Михаила, относился к нему хорошо и, наверное, оставил бы Михаила на неопределенное время. Тем более на ферме не было ни слесаря, ни кузнеца, а Михаил знал это дело.

Но раз ночью Михаил проснулся. На колодце чвакал двигатель, нагнетая воду в сад. Хутор спал, и Михаил почувствовал тоску и тревогу. Он вспомнил розы, Россию, Феодосия, Попова, эфирный тракт, работающий океан – и стал одеваться. Деньги у него были, двадцать долларов, и он вышел в прохладную ночь. Была за фермой тьма, какой-то город сиял ночным чудом на далеком холме – и Михаил молча пошел дальше на Калифорнию, в лимонный округ Риверсайда.

* * *

Десять лет прошло, как ушел Михаил из Ржавска, успев кончить рабфак и электротехнический институт и попасть в Америку в научную командировку. Всюду он искал решение задачи мертвого Попова. В свежее утро раннего лета, среди молодых розовых гор Калифорнии, шагал Михаил к далеким лимонным рощам и цветочным полям Риверсайда.

Кирпичников чувствовал в себе сердце, в сердце был напор крови, а в крови – надежда на будущее, – на сотни счастливых советских лет, напоенных благотворным газом роз и накормленных эфирным железом.

И Михаил спешил среди ферм, обгоняя мощные стада, сквозь веселый белый бред весенних вишневых садов. Калифорния немного напоминала Украину, где Кирпичников бывал мальчиком, но народ был сплошь здоровый, рослый и румяный, а коричневые обнажения древних горных пород напоминали Кирпичникову, что родина его далеко и что там сейчас, наверное, грустно.

И, свирепея, отчаиваясь, завидуя, упираясь в твердые ноги, Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственный Риверсайд, где сотни десятин под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на эфирный тракт: в Риверсайте находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униону.

Четверо суток шел Михаил. Он немного заблудился и дал круг километров в пятьдесят.

Наконец он достиг города Риверсайда. В городе было всего домов тысячу; но улицы, электричество, газ, вода – все было удобно обдумано и устроено, как в лучшей столице.

У околицы города висела вывеска:

«Путник, только у Глэн-Бабкока, в гостинице „Четырех стран света“, высосут пыль из твоей одежды (вакуум-пыпитры), предложат влагу лучших источников Риверсайда, накормят стерилизованной пищей, почти не дающей несваренных остатков, и уложат в постель с электрическими грелками и рентгенокомпрессором, изгоняющим тяжелые сновидения».

Кирпичников немного понимал по-английски и теперь развлекался этими надписями.

«Американцы! В Вашингтоне – ваша мудрость! В Нью-Йорке – слава! В Чикаго – кухня! В Риверсайде – ваша красота! Американцы, вы должны быть настолько красивы, насколько энергичны и богаты: заказывайте тоннами пудру „Ривергрэн“!»

«В Фриско наши корабли, в Риверсайде – наши женщины! Американки, объясните мужьям – нашей стране нужны не только броненосцы, но и цветы! Американки, записывайтесь в Добровольную Ассоциацию Поощрения Национального Цветоводства: Риверсайд, 1, А/34».

«Масло розы – основа богатства нашего округа! Масло розы – основа здоровья нации! Американцы, уснащайте ваши мужественные тела эссенцией розы – и вы не потеряете мужества до ста лет!»

«В Азии – Месопотамия, но без рая! В Америке – Риверсайд, но в раю!»

«Элементы нашего национального рая, суть:
Пища – Жилище – Влага: Глэн-Бабкок;

Одежда – Красота – Мораль: Кацманзон;
Искусство – Рассуждение – Религия – Пути Поведения –
Вечная Слава: универсальное блок-предприятие Звездного
треста;

Вечный покой: Анонимная Компания „Урна“;

Эксплуатация времени в целях смеха и развлечения:
изолированная обитель „Древо Евы“;

Препараты „Антисексус“: Беркман, Шотлуа и С^н.».

«Ходят только в башмаках Скрэга, в остальной обуви
ползают!»

«Приведи в действие тормоз опасности! Стоп! Дальше
– конец света! Зайди в наш дом „Сотворение мира“!»

«Джентльмены! Танец творит человека – творите себя:
танцзала напротив! Маэстро Майнрити: стаж 50 лет в
странах Европы».

«Помолись! Каждый обречен на смерть! Встреча с
Богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом
Абсолютной Религии! Вход бесплатный. Хор юных девушек
зафиксированного целомудрия! Оживленная Статуя
Истинного Бога! Мистические процедуры, стихи, музыка
нерожденных душ, ароматное помещение! Кино
религиозными методами иллюстрирует современность,
пастор Фокс доказывает соответствие Истории и Библии!
Посетившему гарантируется стерилизация души и
возвращение перводушевности!»

«Звездное Знамя есть Знамя Небесного Бога!
Аллилуйя!»

«Наклони голову: тебя ждут обувные автоматы и
препараты против пота!»

«Главное в жизни – Пицца! И – наоборот!
Усовершенствованные экскрементарии в каждом квартале

Риверсайда ждут тебя! Осознай желудок!»

«Аэропланы в розницу с бесплатной упаковкой: Эптон Гаген».

Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга – двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда.

Работу себе нашел Кирпичников через четыре дня: машинистом на насосной станции, поднимающей воду из реки Квебека в лимонные сады. На заводе розовых масел работы не было и не предвиделось. Кирпичников решил обождать.

Прошел монотонный месяц. Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа! Очень любопытно! Кирпичников наблюдал, молчал и терпел, друзей никаких не имел.

Адреса своего Кирпичников дома не оставил, записки тоже, однако то, что он отправился в Америку, на родине было известно. Кирпичников, как всегда, внимательно читал газеты, и однажды увидел в «Чикагском ораторе» следующее объявление:

«Мария Кирпичникова просит своего бывшего мужа Михаила Кирпичникова вернуться на родину, если ему дорога жизнь жены. Через три месяца Кирпичников жену в живых не застанет. Это не угроза, а просьба и предупреждение».

Кирпичников вскочил, бросился к машине и закрыл клапан паропровода. Машина остановилась.

Сейчас же зазвонил телефон:

– Алло! В чем дело, механик?

– Посылайте смену до срока! Ухожу!

– Алло! В чем дело? Куда уходите? Что за шутки дьявола? Пустите сейчас же насос, иначе взыщем убытки! Алло, вы слушаете? Достаточно ли у вас долларов для уплаты штрафа? Я звоню полиции!

– Убирайся к черту, двенадцатилетний дурак! Я предупредил – я ухожу без расчета!

Кирпичников выбежал по мостику с плавучего понтона, на котором помещалась установка, и пустился по долине Квебека на запад, не успевая думать. Солнце жалило зноем, горизонт закрыт горами, подошвы которых устланы тучными плантациями, и жаль было, что великолепные плоды земли превращались в конечном счете в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека.

* * *

Снова пошли дни, мучительные поиски заработка, тысячи затруднений и приключений. Описание даже обычного дня человека заняло бы целый том, описание дня Кирпичникова – четыре тома. Жизнь – в работе молекул; никто еще не уяснил себе, ценою каких трагедий и катастроф согласуется бытие молекул в теле человека и создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления. Это неизвестно. Потребуется изобретение нового научного метода, чтобы его заостренным инструментом просверлить скважины в пучинах нутра человека и посмотреть, какая там страшная работа.

Снова океан. Но Кирпичников уже не кочегар на судне, а пассажир. В Нью-Йорке он попал в мертвую хватку голода. Работы не было, и он вышел из бедствия лишь случайно. Еще в студенческие годы он изобрел однажды точный регулятор напряжения электрического тока. После недельной сплошной голодовки он начал обходить тресты и предприятия с предложением своего изобретения.

Наконец Западная индустриальная компания купила у него проект регулятора. Однако его заставили изготовить рабочие чертежи всех деталей. Кирпичников просидел над этим делом два месяца и получил всего двести долларов. Это его спасло.

Вез его океанский пароход «Гамбург – Америка линии» со средней скоростью шестьдесят километров в час. Кирпичников знал свою жену и был уверен, что если он не успеет к сроку домой – она будет мертвой. Самоубийства он не допускал, но что же это будет? Он слышал, что в старину люди умирали от любви. Теперь это достойно лишь улыбки. Неужели его твердая, смелая, радующаяся всякой чепухе жизни Мария способна умереть от любви? От старинной традиции не умирают, тогда отчего же она погибнет?

Размышляя и томясь, Кирпичников блуждал по палубе. Он заметил прожектор далекого встречного корабля и остановился.

Вдруг сразу похолодало на палубе – начал бить страшный северный ветер, потом на судно нахлобучилась водяная глыба и в один миг сшибла с палуб и людей, и вещи, и судовые принадлежности. Судно дало крен почти в 45° к зеркалу океана. Кирпичников уцелел случайно, попав ногой в люк.

Воздух и вода гремели и выли, густо перемешавшись, разрушая судно, атмосферу и океан.

Стоял шум гибели и жалкий визг предсмертного отчаяния. Женщины хватали ноги мужчин и молили о помощи. Мужчины их били кулаками по голове и спасались сами.

Катастрофа наступила мгновенно, и, несмотря на высокую дисциплину и мужество команды, ничего существенного по спасению людей и судна сделать было нельзя.

Кирпичникова сразу поразила не сама буря и мертвая стена воды, а мгновенность их нашествия. За полминуты до них океан имел штиль и все горизонты были открыты. Пароход заревел всеми гудками, радио заискрило тревогу, началось спасение смытых пассажиров. Но вдруг буря затихла, и судно мирно закачалось, нащупывая равновесие.

Горизонт открылся, в километре шел европейский пароход, сияя прожекторами и спеша на помощь.

Мокрый Кирпичников суетился у катера, налаживая отказывающийся работать мотор. Он не вполне сознавал, как попал к катеру. Но катер необходимо спустить немедленно: в воде захлебывались сотни людей. Через минуту мотор заработал: Кирпичников зачистил его окислившиеся контакты – в этом была вся причина.

Кирпичников влез в кабинку катера и крикнул: отдавай блоки!

В эту минуту непроницаемый едкий газ затянул все судно, и Кирпичников не мог увидеть своей руки. И сейчас же он увидел падающее, одичалое, нестерпимо сияющее солнце и сквозь треск своего рвущегося мозга услышал на мгновение неясную, как звон Млечного Пути, песню и пожалел о краткости ее.

Правительственное сообщение, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс», было передано из-за границы Телеграфным агентством СССР:

В 11 часов 15 мин. 24/IX с/г под 35°11' сев. шир. и 62°4' вост. долготы затонули американское пассажирское судно «Калифорния» (8 485 человек, считая команду) и германское судно «Клара» (6 841 чел. с командой), шедшее на помощь первому. Точные причины не выяснены. Надлежащее следствие ведется обоими правительствами. Спасенных и свидетелей катастрофы нет. Однако главную причину гибели обоих судов следует считать точно установленной: на «Калифорнию» вертикально упал болид гигантских размеров. Этот болид увлек корабль на дно океана; образовавшаяся воронка засосала также и «Клару».

По мере хода следствия и подводных изысканий, публика будет своевременно и полностью информирована.

Сообщение было перепечатано во всех газетах мира. Наибольшее страдание оно доставило не сиротам, не невестам, не женам и родственникам погибших, а Исааку Матиссену, директору Кочубаровской опытно-мелиоративной станции, близ поселения Волошино, Воронежского округа, Центрально-Черноземной области.

– Ну что, голова! Достиг вселенской мощи – наслаждайся теперь победой! – шептал Матиссен самому себе с тем полным спокойствием, которое соответствует смертельному страданию. И только пальцами он зря крошил хлеб, скатывал ядрышки и сшибал их щелчками со стола на пол.

– Ведь, по сути и справедливости, я ничего и не достиг. Я только испытал новый способ управления миром и совсем не знал, что случится! – Матиссен встал, вышел на ночной двор и крикнул собаку: – Волчок! Эх ты, тварь кобелястая! – Матиссен погладил подбежавшую собаку. – Верно, Волчок, что сердце наше – это болезнь? А? Верно, ведь, что сентиментальность – гибель мысли? Ну, конечно, так! Разрубим это противоречие в пользу головы и пойдем спать!

Матиссен закричал через забор в открытое поле, пугая невидимых, но возможных врагов. Волчок заскулил – и оба разошлись

спать.

Хутор затих. Тихо шептала речонка в долине, подвигая свои воды к далекому океану, и в Кочубарове-селе отсекал исходящий газ двигатель электростанции. Там люди глубоко спали, не имея родственников ни на «Калифорнии», ни на «Кларе».

Матиссен тоже спал – с помертвелым лицом, оловянным утихшим сердцем и распахнутым зловонным ртом. Он никогда не заботился ни о гигиене, ни о здоровье своей личности.

Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему ничто не интересно и то, чего он добился – не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум.

В дверь постучался ранний гость. Вошел знакомый крестьянин Петропавлушкин.

– Я к вам от нашей коммуны пришел, Исаак Григорьевич! Вы не обижайтесь, я сам по званию и по науке помощник агронома и суеверия не имею!..

– Говори короче, в чем твое дело? – подогнал его Матиссен.

– Наше дело в том, что вы слово особое знаете и им пользу большую можете делать. Мы же знаем, как от вашей думы машины начинают работать...

– Ну, и что же?

– Нельзя ли, чтобы вы такую думу подумали, чтоб поля круче хлеб рожали...

– Не могу, – перебил Матиссен, – но, может быть, открою, тогда помогу вам. Вот камень с неба могу бросить на твою голову!..

– Это ни к чему, Исаак Григорьевич! А ежели камень можете, то почва ближе неба...

– Дело не в том, что почва ближе...

– Исаак Григорьевич, а я вот читал, корабли в океане утонули, тоже от небесного камня. Это не вы американцев удружили?

– Я, товарищ Петропавлушкин! – ответил Матиссен, не придавая ничему значения.

– Напрасно, Исаак Григорьевич! Дело не мое, а полагаю, что напрасно!

– Сам знаю, что напрасно, Петропавлушкин! Да что же делать-то? Были цари, генералы, помещики, буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась – ученые. Злое место пустым не бывает!

– А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

– Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарства не нужно будет...

– Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит!

– Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! – оживился Матиссен. – Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что, похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором! А не то – всех перекрошу и пушу газом!

– А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и разузнали сразу все!

– Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

– Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

– А по-моему, весь ум – зло! Весь труд – зло! И ум и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется...

– Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!.. Так наша коммуна просит помощи, Исаак Григорьевич! Очень земля истощена, никакой фосфат уже не утучняет. Вам думу почве передать не трудно, а нам жизнь от этого! Уж вы, пожалуйста, Исаак Григорьевич! Вон как прелестно у вас: подошел, подумал что следует – и машина воду сама погнала! Так бы и нам материнство в почву дать! До свиданья, пока!

– Ладно. Прощай! – ответил Исаак Григорьевич.

«А этот человек умен, – подумал Матиссен, – он почти убедил меня, что я выродок!»

Затем Матиссен окончательно оделся и перешел в другую комнату. В ней стоял плоский и низкий стол размером 4 x 3 метра. На столе помещались приборы. Матиссен подошел к самому маленькому аппарату. Он включил в него ток от аккумуляторов и лег на пол. Сейчас же он потерял ясное сознание, и его начали терзать гибельные кошмары почти смертельной мощи и почти физически разрушающие мозг. Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; все здоровье Матиссена, все скрытые силы организма, все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозгу. А сам мозг лежал почти беззащитным под ударами электромагнитных волн, бьющих из аппарата на столе.

Эти волны возбуждали особые мысли в мозгу Матиссена, а мысли стреляли в космос особыми сферическими электромагнитными бомбами. Они попадали где-то, может быть в глуши Млечного Пути, в сердце планет и расстраивали их пульс, – и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродяги.

Мозг Матиссена был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц, – тогда мировое вещество сотрясает буря.

Матиссен не знал, когда начинал опыт, что случится на земле или на небе от его нового штурма. Тем чудесным и неповторимым строением электромагнитной волны, которую испускал его мозг, он еще не научился управлять. А именно в особом строении волны и был весь секрет ее могущества; именно это било мировую материю по самому нежному месту, и от боли она сдавалась. И такие сложные волны мог давать только живой мозг человека лишь при содействии мертвого аппарата.

Через час особые часы должны прервать ток, питающий мозговозбудительный аппарат на столе, и опыт прекратится.

Но часы остановились: их забыл завести Матиссен перед началом опыта. Ток неумолимо питал аппарат, и аппарат тихо гудел в своем труде.

Прошло два часа. Тело Матиссена таяло пропорционально квадрату количества времени. Кровь из мозга поступала сплошной лавой трупов красных шариков. Равновесие в теле нарушилось.

Разрушение брало верх над восстановлением. Последний невероятный кошмар вонзился в еще живую ткань мозга Матиссена, и милосердная кровь погасила последний образ и последнее страдание. Черная кровь бурей ворвалась в мозг через разорванную вену и затормозила пульсирующее боевое сердце. Но последний образ Матиссена был полон человечности: перед ним встала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь, и она жаловалась сыну на свое мучение.

В девять часов утра Матиссен лежал мертвым – с открытыми белыми глазами, с руками, вьевшимися ногтями в пол в борющемся исступлении.

Аппарат усердно гудел и остановился только к вечеру, когда иссякла энергия в аккумуляторе.

Весь день мимо дома Матиссена бежали упряжки лошадей и полутоннажные грузовики – возить отаву с лугов, заготавливать впрок корм скоту.

Петропавлушкин водил автомобиль – грузовичок, улыбался мировому пространству в полях и успокоительно думал о пользе добросердечной науки, коей он сам немалый соучастник.

* * *

Через два дня «Известия» в отделе «Со всего света» напечатали информацию Главной астрономической обсерватории.

В созвездии Гончих Псов при ясном небе вторые сутки не обнаруживается альфа-звезда.

В Млечном Пути на 4-й дистанции (9-й сектор) образовалось пустое пространство – разрыв. Его земной угол = $4^{\circ}71'$. Созвездие Геркулеса несколько смещено, вследствие чего вся солнечная система должна изменить направление своего полета. Столь странные явления, нарушившие вековое строение неба, указывают на относительную хрупкость и непрочность самого космоса. Обсерваторией ведутся усиленные наблюдения, направленные к отысканию причин этих аномалий.

В дополнение к этому обещалась беседа в ближайшем номере с академиком Ветманом. Из других телеграмм с одной четвертой земного шара (тогдашние размеры СССР) не явствовало, чтобы Земля потерпела что-либо существенное от звездных катастроф, исключая петитную информацию с Камчатки:

На горы село небольшое небесное тело, около 10 километров в поперечнике. Строение его неизвестно. Форма – сфероид. Тело прилетело с небольшой скоростью и плавно приземлилось к вершинам гор. В бинокли видны огромные кристаллы на его поверхности. Местным Обществом Любителей Природоведения снаряжена экспедиция для предварительного изучения опустившегося тела. Но экспедиция не может дать быстрых результатов: горы почти неприступны. Из Владивостока затребованы аэропланы. Сегодня в направлении небесного тела пролетела небольшая эскадрилья японских аэропланов.

На следующий день эта заметка превратилась в сенсацию и странному событию была посвящена статья в триста строк академика Ветмана.

В тот же день «Беднота» сообщила о смерти инженера-агронома Матиссена, известного в кругах специалистов работника по оптимальному режиму влаги в почве.

И только помощнику агронома в Кочубарове Петропавлушкину, выписывавшему и «Известия» и «Бедноту», пришла в голову нечаянная мысль о связи трех заметок: Матиссен умер – на Камчатские горы села планетка – одна звезда пропала и лопнул Млечный Путь. Но кто поверит такому деревенскому бреду?

Хоронили Матиссена торжественно. Почти вся Кочубаровская сельскохозяйственная коммуна шла за его трупом. Земледелец издревле любит странников и чужородных людей. А молчаливый одинокий Матиссен был из таких – это явно чувствовали в нем все. Последний ободок волос на лысом черепе Матиссена осыпался, когда гроб резко толкнули неловкие руки. Это удивило всех крестьян, и к мертвому Матиссену прониклись еще большей жалостью и уважением.

Похороны Матиссена совпали с концом работ подводной экспедиции, отправленной правительствами Америки и Германии для отыскания затонувших «Калифорнии» и «Клары».

Снимаясь с места катастрофы, экспедиция отправила радио в Нью-Йорк и Берлин:

Считать установленным точной разведкой – живая сила болида была титанически велика: «Калифорния» и «Клара» загнаны болидом глубоко в дно океана и сам болид утонул в недрах океанического ложа. В месте катастрофы образовалась впадина диаметром в сорок километров, с наибольшей глубиной, считая от прежнего уровня дна, в 2,55 километра. Только подводное бурение может указать глубину залегания всех трех тел – «Калифорнии», «Клары» и самого болида. Надо ожидать сильной деформации изыскиваемых предметов.

В ответ на это оба правительства телеграфировали:

Бурите дно океана. Соответствующие кредиты открыты.

Экспедиция послала одно из своих судов за добавочным оборудованием для буровых подводных работ, а через две недели начала бурение.

Петропавлушкин был селькором «Бедноты». Наука держала мир в панике сенсаций. Каждый день манифесты ее открытий занимали половину ежедневной прессы. Было время: веселился воин, потом торжествовал богач, а теперь настало время ученого героя и ликующего знания. В науке поместилось ведущее начало Истории.

В стороне от науки стоять не было терпения, и Петропавлушкин написал в «Бедноту» корреспонденцию, которая должна дать ему внутреннее удовлетворение соучастника всемирной науки.

Девять дней его терзала догадка, потом она превратилась в теплое убеждение, греющее мозг.

Корреспонденция называлась «Битва человека со всем миром»:

Ученый инженер и агроном Исаак Григорьевич Матиссен, что умер на днях, как то известно читателям,

изобрел такие мысли, что они сами по себе могли кидать метеоры на землю. Перед смертью, когда тело его было горячо, Исаак Григорьевич говорил мне, что он и не то будет еще делать. Американский корабль утонул тоже по его власти. А я ему отсоветовал так отягощаться бедой. Но он насмеялся над здравым смыслом полунаучного человека (я имею степень помощника агронома по полеводству). И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова.

Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благонадежное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер.

Я освещаю этот мировой факт и требую к нему доверия, потому что я очевидец всему. Доказательство тому – мой предварительный разговор с Исааком Григорьевичем перед его уединенной смертью.

Разгадка теперь дана всем малосведущим, и факт стал фактом во всеуслышание.

Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!

Селькор и помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине Петропавлушкин.

В редакции «Бедноты» посмеялись над таким доносом на мертвого и написали товарищу Петропавлушкину теплое письмо, полное разубеждения, пообещав прислать ему такие книги, которые его сразу вылечат от идеалистического сумбура.

Петропавлушкин обиделся и перестал писать корреспонденции. Потом одумался, разозлился и написал открытку:

Граждане! Редакторы-издатели! Полуученый человек сообщил вам факт, а вы не поверили, будто я совсем не

ученый. Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось. Так о чем же речь и насмеяние фактов? Вселенский мир это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком – быв. селькор Петропавлушкин.

* * *

Мария Александровна Кирпичникова прочитала в списке погибших на «Калифорнии» имя своего мужа. Она знала, что он к ней вернется, теперь узнала, что его нет на свете.

Она его не видела двенадцать месяцев, а теперь не увидит никогда.

- Кончена жизнь! – вслух сказала она и подошла к окну.
- Что, мама? – спросил пятилетний сын, возившийся с кошкой.
- Лето кончается, сынок! Видишь, падают листья на улице!
- А отчего ты плачешь? Папа не приедет?
- Приедет, милый!..
- Тебе жалко его? Ты ему большую книжку купила?
- А ты забыл свое стихотворение? Ну-ка, повтори!

Мальчик поднялся с пола и единым духом выговорил, боясь остановиться и забыть:

Рыжий шофер очень важен,
Ахтобузик он ведет.
Ехать быстро очень страшно;
Дядя денежки берет...

Мальчик говорил важно и про себя думал, что он шофер. Мать его начала обнимать и уговаривать лечь поспать, чтобы не быть вечером дохлым. Мальчик сопротивлялся и сам ласкал мать, жадно и сознательно, как взрослый.

- Ляжь, поспи, мальчик! Папа скорей приедет!

- Не ври, мамка! Сколько раз спал, а он все не едет!
- Ну ты так ляжь – полежи! А то к бабушке отправлю, как Левочку, скучать по мне будешь! Поедешь к бабушке?
- Не поеду я!
- Почему?
- Мне там скучно будет, а без меня папа приедет!

И все же мальчик улегся спать – мать знает, как это сделать. Мария Александровна посмотрела на ребенка – лицо его стало мирным и необыкновенным, вызывающим жалость и новые силы любви. Кажется, пусть только проснется он – и все станет новым, и мать его никогда не обидит. Но это был только милый обман образа спящего беззащитного ребенка: просыпался мальчик снова маленьким бандитом и изувером, и даже мебель от него уставала.

Оставшись в покое, Мария Александровна решила неуклонно жить. Но она понимала, что теперь всю энергию своего сознания она должна бросить на то, чтобы урегулировать свое плачущее любящее сердце. И только тогда она устоит на ногах, иначе можно умереть во сне.

Спать она боялась ложиться: отдыхающий беззащитный мозг могут растерзать дикие образы ее неутомимого несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся страшные образы, как сорняки в некультурных заброшенных полях.

И грядущая ночь ей была непостижимо страшна.

Как женщина, как человек, она хотела бы иметь горсть пепла от праха своего мужа. Отвлеченная могила под дном океана не давала веры в настоящую смерть, но темным инстинктом она была убеждена, что Михаил уже не дышит воздухом земли.

Спящий Егорушка до привидения напоминал ей мужа. Отсутствовали только морщины и складки утомления у рта.

Мария Александровна не совсем понимала мужа: ей непонятна была цель его ухода из дома. Она не верила, что живой человек теплое достоверное счастье может променять на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только человека, и не знала, что путь к человеку может лежать через стужу дикого пространства. Мария Александровна предполагала, что людей разделяют лишь несколько шагов.

Но ушел Михаил, а потом умер в далеком плавании, ища драгоценность своей затаенной мысли. Мария Александровна, конечно, знала, чего ищет ее муж. Она понимала смысл изобретения размножения материи. И в этой области хотела помочь мужу. Она купила ему десять экземпляров большого труда – перевод символов только что найденной в тундре книги, изданной под именем «Генерального сочинения». В Аюнии, вероятно, сильно было развито чтение: этому способствовала тьма восьмимесячной ночи и уединенность жизни аюнитов.

При строительстве второго вертикального термического туннеля, когда Кирпичников уже пропал, строители обнаружили четыре гранитных плиты с символами на них, исполненные крупным рельефом. Символы были того же начертания, что и в ранее найденной книге «Песни Аюны», поэтому легко поддались переложению на современный язык.

Плиты-писанцы, вероятно, были памятником и завещанием философа-аюнита, но в них содержались мысли на сокровенное содержание природы. Мария Александровна исчитала всю книгу и нашла ясные намеки на то, что искал ее муж по всей пустой земле. Далекий мертвый человек давал помощь ее мужу, ученому и бродяге, давал помощь счастью женщины и матери.

И вот тогда Мария Александровна дала объявления в пять американских газет.

Она изучила на память нужные места в «Генеральном сочинении», боясь утратить как-нибудь книги и не встретить Михаила с наилучшей для него радостью.

Лишь живое познается живым, – писал аюнит, – мертвое непостижимо. Неимоверное нельзя измерить достоверным. Именно посему мы познали отчетливо такое далекое, как азны (соответствует электронам. – Примеч. переводчиков и излагателей.), и нам осталось мало известным такое близкое, как мамарва (соответствует материи. – Примеч. переводчиков и излагателей.). Это потому, что первое живет, как ты живешь, а второе – мертво, как Муйя (неизвестный образ. – Примеч. перевод. и излагателей.). Когда азны шевелились в прое (соответств.

атому. – Прим. пер. и изл.), сначала мы видели в этом механическую силу, а потом с радостью открыли в аэнах жизнь. Но центр прои, полный мамарвы, был веками загадкой, пока мой сын достоверно не показал, что центр прои состоит из тех же аэнов, только мертвых. И, мертвые, они служат пищей живым. Стоило сыну моему извлечь из прои ее середину, как все живые аэны погибли от голода. Так вышло, что центр прои есть амбар пищи для живых аэнов, пасущихся вокруг этой обители трупов своих предков, чтобы пожирать их. Так просто и сияюще истинно была открыта природа всей мамарвы. Вечная память моему сыну. Вечная скорбь его имени! Вечное почитание его утомленному образу!

Это Мария Александровна знала наизусть, как ее сын стихотворение про рыжего важного шофера.

Остальная часть «Генерального сочинения» содержала учение об истории аюнитов – о ее начале и близком конце, когда аюниты найдут свой зенит во времени и в природе, когда все три силы – народ аюнитов, время и природа – придут в гармоническое соотношение и их бытие втроем зазвучит как симфония.

Это Марию Александровну мало интересовало. Она искала равновесие своего личного счастья и не вполне осваивала откровения неведомого аюнита.

И только последние страницы книги заставили ее вздрогнуть и забыть в удивленном внимании.

...Ныне это так же стало возможным, как было в эпоху детства моей родины. Тогда возмутились пучины Материнского океана (Северного Ледовитого. – Примеч. редактора), и океан начал заливать нашу землю жесткой мерзлой водой, перемешанной с глыбами льда. Вода ушла, а льды остались. Они долго ползли по холмам нашей просторной земли, пока не стерли их и наша родина не превратилась в бесплодную равнину. Лучшие плодородные почвы на холмах были срезаны льдом, и народ остался в голодном поле. Но беда лучший наставник, а катастрофа

народа – организатор его, если еще не обеспокоена его кровь долгой жизнью на земле. Так и тогда: льды разрушили плодородную землю, лишили наших предков питания и размножения, и гибель опустилась над головою народа. Горячий поток в океане, оттапливавший страну, начал удаляться на север, и стужа завывала над той землей, где цвели сумрачные аргоны. На севере нас сторожил хаос мертвых льдов, на юге лес, набитый темной тучей мощных зверей, наполненный свистом мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения гигантских змей. – Прим. редак.). Народ аюны, народ мужества и чувства уважения к своей судьбе, начал себя умерщвлять, закапывая свои книги – высший дар аюны – в землю, оковав их золотом, пропитав листы составом веньи, дабы они могли уцелеть вечность и не сгнить.

Когда половина народа была покорена смертью и лежала трупам, явился Эйя – хранитель книг – и пошел бродить по опустевшим дорогам и замолкающим жилищам. Он говорил: у нас отнято материнство почвы, погасает теплота воздуха, лед скребет нашу родину и горе тушит мудрость ума и мужество. У нас остался только свет солнца. Я сделал аппарат – вот он! Стрдание научило меня терпению, и дикие годы отчаяния народа я сумел плодотворно использовать. Свет – сила терзаемой мамарвы (изменяющейся материи. – Прим. редак.), свет – стихия аэнов; мощь аэнов сокрушительна. Мой аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. И не только свет солнца, но и луны и звезд я могу своей простой машиной превратить в тепло. Я могу получить огромное количество тепла, которым можно расплавить горы. Нам теперь не нужен теплый поток океана, чтобы греть нашу землю!

Так Эйя стал водителем жизни и началом новой истории аюны. Его аппарат, состоявший из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла (вероятно, электричество. – Прим. редак.), и поныне служит источником народной жизни и довольства.

Равнины родины расцвели, и родились новые дети. Прошел эн (очень длительный промежуток времени. – Прим. редак.).

Организм человека был исчерпан. Даже молодой мужчина не мог производить семени, даже сильнейший разум перестал рождать мысль. Долины родины покрылись сумраком последнего отчаяния – человек дошел до предела в самом себе – аюна, солнце нашего сердца, закатывалась навсегда. Перед этим льды были ничто, холод – ничто, смерть – ничто. Человек питался одним презрением к себе. Он не мог ни любить, ни мыслить и даже не мог страдать. Источники жизни иссякли в недрах тела, потому что они были выпиты. У нас были горы пищи, дворцы уюта и кристаллические книгохранилища. Но не было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, и затмились надежды. Человек – рудник, но руда была выработана вся, остались пустынные шахты.

Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться пищей.

Так было долго. Целое поколение не познало молодости.

Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал нам, что судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери, – нас ждет ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло. (В подлиннике: труба для живой силы металла. – Прим. редак.). Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру. – Прим. редак.), и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша аюна. Но больше того: дети росли скорее в два раза и жизнь в них пульсировала, как сильнейшая машина. Все остальное – сознание, чувство и любовь – выросло в страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в

незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков.

Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго взял два центра прои, наполненные трупами аэнов, и поместил в одну прою. Тогда живые аэны прои стали быстро размножаться, и вся проя выросла в пять раз в десять дней. Причина видна и невзрачна: аэны стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.

Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, неимоверно множащихся аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело – кусок железа – и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир. – Прим. редак.), и они свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И железо начало расти на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери.

Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать вещество.

Но победа всегда подготавливает поражение.

Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали нападать на живых, но естественных аэнов и пожирать их. А так как при всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна настолько, сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, то здесь – всюду, куда попадали откормленные аэны (электроны – дальше пользуемся этим современным термином. – Прим. редак.), – начало уменьшаться. Искусство Рийго не смогло сделать пищепровод для всей земли, и вещество таяло. Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов (эфирный тракт. – Прим. редак.), вещество росло. Эфирными трактами были снабжены люди, почва и главнейшие вещества для нашей жизни. Все остальное уменьшилось в

своих размерах, вещество сторало, мы жили за счет разрушения планеты.

Рийго исчез из дома. В Материнском океане начала пропадать вода. Рийго знал причину исчезновения влаги и вышел встречать противника. Однажды откормленное и воспитанное им племя электронов, работой времени и естественным отбором, достигло того, что каждый электрон равнялся облаку, по объему тела.

В неистовой свирепости шли тучи электронов из недров Материнского океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры. Аюна будет выпита ими, как обычная вода!

Рийго пал. Нельзя вытерпеть взгляд электрона. Гнусна будет смерть от ужаса, но нет спасения больше аюне. Рийго давно пал в безвестности, как камень в колодезь. Слишком медленно идут эти космические звери. Но слишком быстро прошли они путь от частички прои до живой горы. Я думаю, они тонут в земле, как в твороге, потому что тело их тяжелее свинца. Наверно, Рийго пал не зря, а имея решение и способ победить неизвестные элементарные тела. В быстром росте, в бешеном действии естественного отбора – сила электрона. В этом и слабость их, потому что ясно указывает на предельную простоту их психики и физиологической организации, а стало быть, обнаруживает незащитное уязвимое место. Рийго постиг эту очевидность, но убит лапой электрона, тяжелой, как пласт платины...

Мария Александровна поникла над книгой, Егорушка спал, часы пробили двенадцать ночи – самый страшный час одиночества, когда спят все счастливые.

– Неужели так труден корм человеку? – громко сказала Мария Александровна. – Неужели всегда победа – предвестник поражения?

Тишина в Москве. Последние трамваи спешат в парк, искря контактами.

– Тогда какой победой возместится мрачная смерть моего мужа? Какая душа мне заменит его сумрачную потерянную любовь?

И она загорелась кипящей скорбью и заплакала слезами, убивающими тело скорее, чем льющаяся кровь. Ее мысль металась в кошмаре: гул живых мрачных электронов терзал мудрую беззащитную Аюну, реки зеленого яда зундры заливали цветущую тундру, и в зеленой влаге плыл, томясь и захлебываясь, Михаил Кирпичников, ее единственный друг, утраченный на веки веков.

* * *

В Серебряном бору, близ крематория, стояло здание нежного архитектурного стиля. Оно исполнено было как сфероид – образ космического тела, но не касалось земли, удерживаемое пятью мощными колоннами. От высшей точки сфероида уходила в небо телескопическая колонна – в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих, – в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым.

Это был Дом воспоминаний, где стояли урны с пеплом погибших людей.

Седая, и от старости прекрасная, женщина вошла с юношей в Дом.

Тихо прошли они в дальний конец огромного зала, освещенного тихим синим светом памяти и тоски.

Урны стояли в ряд, как некие светильники с потухшим светом, освещавшие некогда неизвестную дорогу.

На урнах были прикреплены мемориальные доски.

«Андрей Вогулов. Пропал без вести в экспедиции по подводному исследованию Атлантиды.

В урне нет праха – лежит платок, смоченный его кровью во время ранения на работах на дне Тихого океана. Платок доставлен его спутницей».

«Петер Крейцкопф, строитель первого снаряда для достижения Луны. Улетел в своем снаряде на Луну и не

возвратился. Праха в урне нет. Сохраняется его детское платье. Честь великому технику и мужественной воле!»

Седая женщина, сияющая удивительным лицом, прошла с юношей дальше.

Они остановились у крайней урны.

«Михаил Кирпичников, исследователь способа размножения материи, сотрудник доктора физики Ф. К. Попова, инженер. Погиб на „Калифорнии“ под упавшим болидом. В урне нет праха. Хранится его работа по искусственному кормлению и выращиванию электронов и прядь волос».

Внизу висела вторая малая доска:

«Чтобы найти пищу электронам, он потерял свою жизнь и душу своей подруги. Сын погибшего осуществит дело отца и возвратит матери сердце, растраченное отцом. Память и любовь великому искателю!»

Бывает старость как юность: ожидающая спасения в чудесной опоздавшей жизни.

Мария Александровна Кирпичникова утратила молодость напрасно, теперь ее любовь к мужу превратилась в чувство страстного материнства к старшему сыну Егору, которому шел уже двадцать пятый год. Младший сын Лев учился, был общителен, очень красив, но не возбуждал в матери того резкого чувства нежности, бережности и надежды, как Егор.

Егор лицом напоминал отца – серое, обычное, но необычайно влекущее скрытой значительностью и бессознательной силой.

Мария Александровна взяла Егора за руку, как мальчика, и пошла к выходу.

В вестибюле Дома воспоминаний висела квадратная золотая доска с серыми платиновыми буквами:

«Смерть присутствует там, где отсутствует достаточное знание физиологических стихий, действующих в организме

и разрушающих его».

Над входом в Дом висела арка со словами:

«Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце».

Женщина и юноша вышли на воздух. Летнее солнце ликовало над полнокровной землей, и взорам двух людей предстала новая Москва – чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья.

Солнце спешило работать, люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и в любви.

Всем их обеспечивало солнце над головой, – то самое солнце, которое когда-то освещало дорогу Михаилу Кирпичникову в лимонном округе Риверсайда, – старое солнце, которое сияет тревожной страстной радостью, как мировая катастрофа и зачатие вселенной.

* * *

Егор Кирпичников кончил Институт имени Ломоносова и стал инженером-электриком.

Дипломный проект он сдавал на тему: «Лунные возмущения электросферы земли».

Егору мать передала все книги и рукописи отца, в том числе труд Ф. К. Попова, который начисто переписал Михаил Кирпичников после смерти Попова.

Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой аюнитов и всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами – отпали все сомнения. Область электронов уже твердо определилась, как микробиологическая дисциплина.

Егор избрал темой своей жизни конечную разгадку вселенной, и он не напрасно, подобно своему отцу, искал первичное чрево мира в

межзвездном пространстве – в таинственной жизни электронов, составляющих эфир.

Егор верил, что, кроме биологического, существует электротехнический способ искусственного размножения вещества, и искал его со всею свежестью и страстью молодости, не тронутой женской любовью.

В это лето Егор рано кончил свою работу в лаборатории профессора Маранда, которому он ассистировал по кафедре Строения Эфира.

Маранд в мае уехал в Австралию к своему другу, астрофизику Товту, и Егор наслаждался отдыхом, летом и собственными нечаянными мыслями.

Отдых – лучшее творчество, – писал когда-то в письме Марии Александровне отец Егора, бродя по тундре вокруг вертикального термического туннеля, где он служил некоторое время производителем работ.

Егор уходил из дому утром. Его нес метрополитен под Красными воротами, под площадью Пяти Вокзалов и выносил далеко за город, за Новые Сокольники, в кислородные рощи. Там шествовал Егор, чувствуя давление крови, свободную вибрацию мозга и острую тоску приближающейся любви.

И раз было так. Егор проснулся – на дворе стоял уже великий торжественный летний день. Мать спала, зачитавшись накануне до глубокой ночи. Егор оделся, прочитал утреннюю газету, прислушался к звенящему напряжению удивительного города и решил куда-нибудь уйти. От отца или давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев, не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам; может быть, еще что – неизвестно. И Егор посильно удовлетворял свое тревожное чувство бродяги в районе узкого радиуса.

Подземка вынесла Егора за Останкино и там оставила одного. Егор вышел на глухую полевую дорогу, снял шляпу и пробормотал забытое стихотворение, вычитанное в книгах матери:

Среди людей, мне близких и чужих,
Скитаюсь я без цели, без желанья.

Дальше он вспомнить слов не мог, но вспомнил другое:

Любимый твой умер далеко,
Как камень в колодезь упал.
В урне лежит его локон,
А голову он потерял.

Эту песню иногда пела мать Егора, когда ее схватывала тоска о муже и она искала от нее защиты у детей и у простой песенки.

– Так, – сказал себе Егор, – но что же производит эфир? – И лег в траву: – А черт его знает что!

Солнце гладило землю против шерсти – и земля вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями и северными сияниями.

Егор небрежно посмотрел на солнце – и сразу горячая волна прошла в его горле и остановилась в голове.

Он поднялся и ничего не мог сообразить.

Как будто его обняла сзади внезапно утраченная любимая женщина и сразу скрылась.

Как в женщину, вонзилась в его сознание сияющая догадка и прополосовала мозг, как падающая звезда. Это было так же странно и безумно, как ребенок хватается сосцы матери, как момент зачатия в девственном теле. Он ощутил страсть и успокоение, как цвет, сбросивший плодотворную пыль в материнское пространство.

Утратив нечаянную мысль, Егор крикнул от досады и пошел прочь со случайного места.

Но потом к нему не спеша возвратились все неясные мысли, как дети со двора, наигравшись и слабо сопротивляясь матери.

* * *

Четвертого января в газете «Интеллектуальный труженик» была напечатана заметка:

Электроцентраль жизни.

Молодым инженером Г. Кирпичниковым в лаборатории эфира проф. Маранда производятся в течение ряда месяцев интересные опыты над искусственным производством эфира. В идее работа инженера Кирпичникова заключается в том, что электромагнитное поле высокой частоты перемен убивает в материи живые электроны; мертвые же электроны, как известно, составляют тело эфира. Высоту технического искусства инженера Кирпичникова можно понять из того, что для убийства электронов нужно переменное поле не менее 10^{12} периодов в секунду.

Высокочастотную машину Кирпичникова представляет само солнце, свет которого разлагается сложной системой интерферирующих поверхностей на составные энергетические элементы: механическую энергию давления, химическую энергию, электрическую и т. д.

Кирпичникову нужна, собственно, одна электрическая энергия, которую он, посредством особого прибора из призм и дефлекторов, концентрирует в очень ограниченном пространстве и достигает нужной частотности.

Электромагнитное поле, по существу, есть колония электронов. Заставляя быстро пульсировать это поле, Кирпичников добился, что живые электроны, составляющие то, что называется полем, погибали; электромагнитное поле превращалось по этой причине в эфир – механическую массу тел мертвых электронов.

Получая некоторые эфирные пространства, Кирпичников опускал в них какое-либо обыкновенное тело (например, самопис Ваттермана), и это тело за трое суток увеличивалось в два раза по своему объему.

В веществе самописа происходил следующий процесс: живые электроны, существующие в веществе самописа, получали усиленное питание за счет окружающих трупов электронов и быстро размножались, увеличиваясь также в

своим объемом. Это вызывало рост всего вещества самописца. По мере поглощения эфира живыми электронами рост и размножение их прекращались.

Кирпичниковым, на основании своих работ, установлено, что в массиве солнца зарождаются в невероятных количествах исключительно живые электроны; но именно средоточие их гигантского количества в относительно тесном месте вызывает такую страшную борьбу между ними за источники питания, что почти все электроны погибают нацело. Борьба электронов за питание обуславливает высокую пульсацию солнца. Физическая энергия солнца имеет, так сказать, социальную причину – взаимную конкуренцию электронов. Электроны в солнечном массиве живут всего несколько миллионных долей секунды, будучи истребляемы более сильными противниками, которые, в свою очередь, погибают под ударами еще более мощных конкурентов и т. д. Еле успев пожрать труп врага, электрон уже гибнет – и очередной победитель поедает его вместе с неперевавленными клочьями тела ранее убитого электрона.

Движения электронов в солнце настолько стремительны, что огромное количество их вытесняется за пределы солнца и улетает в мировое пространство со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, производя эффект светового луча. Но на солнце идет настолько грозная и опустошительная борьба, что все электроны, покинувшие солнце, бывают мертвы и летят за счет либо инерции движения, когда они были живы, либо от удара противника.

Однако Кирпичников убежден, что бывают редчайшие исключения – раз в зоне времен, – когда электрон может живым оторваться от солнца. Тогда, имея вокруг себя эфир – обильную питательную среду, – он служит отцом новой планеты. В дальнейшем инж. Кирпичников предполагает производить эфир в больших количествах, преимущественно из высоких слоев атмосферы, пограничных с эфиром. Электроны там менее активны, и на истребление их потребуется меньше энергии.

Кирпичников заканчивает свой новый метод искусственного производства эфира; новый способ заключается в электромагнитном русле, где действует высокая частота для умерщвления электронов. Электромагнитное высокочастотное русло направляется от земли к небу, и в нем, как в трубе, образуется поток мертвых электронов, подгоняемый давлением солнечного света к земной поверхности.

У земной поверхности эфир собирается, аккумулируется в особые сосуды и затем идет на питание тех веществ, объем которых желают увеличить.

Инж. Кирпичников произвел и обратные опыты. Действуя высокочастотным полем на какой-либо предмет, он достигал как бы угасания предмета и полного его исчезновения. Очевидно, убивая электроны в веществе предмета, Кирпичников уничтожал самую сокровенную природу вещества, ибо только живой электрон – частица материи, мертвый же принадлежит эфиру. Несколько предметов таким способом Кирпичников начисто превратил в эфир, в том числе и самопис Ваттермана, который он сначала «откормил».

Совокупность всех работ Кирпичникова указывает, какую титаническую силу созидания и истребления получило человечество в его изобретении.

По мнению Кирпичникова, благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из солнца, земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм.

Кирпичников говорит, что он в своем изобретении всецело скопировал деятельность солнца по отношению к земле и лишь ускорил его работу.

В связи с этими поражающими открытиями невольно приходит на память имя Ф. К. Попова, оставившего нам свой изумительный труд, и, наконец, отца изобретателя, странно и трагически погибшего инженера Михаила Кирпичникова.

Как музыка, лилась работа у Кирпичникова, как любовь, он ощущал в себе страсть к неуловимому нежному телу – эфиру. Когда он писал пояснительную записку «О возможности и нормах дополнительного питания электронов», то чувствовал аппетит, и его полные юношеские губы бессознательно смачивались слюной.

Корреспондентов газет он не принимал, обещая скоро выпустить небольшой труд информационного характера и публично продемонстрировать свои опыты.

Однажды Егор Кирпичников заснул у стола, но сразу проснулся. Была ночь – глубокая и неизвестная, как все ночи над живой землей. Тот напряженный и тревожный час, когда по стихам забытого поэта:

И по хребту электроволн
Плывущее внимание,
Как ночь в бульварном, мировом
Таинственном романе.

В это время, когда человеку надо либо творчество, либо зачатие новой жизни, в дверь Егора постучали. Значит, пришел кто-то близкий или важный, кого впустила даже мать Егора, жестоко хранившая рабочий и трудный покой своего сына.

– Да! – сказал Егор и полуобернулся.

Вошла редкая гостья – Валентина Крохова, дочь инженера Крохова, друга и сотрудника отца Егора по работе в тундре на вертикальном туннеле. Валентине было двадцать лет – возраст, когда выносятся решение: что же делать – полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира? Или, если жизнь в тебе так обильна, объять то и другое?

Нам это не понятно, но тогда будет так. Наука стала жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол.

И эта раздвоенность неясного решения была выражена на лице Валентины Кроховой. Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови, – вот красота

Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица – удивительная красота молодости человека.

– Ну, что скажешь мне, Валя? – спросил Егор.

– Да так кое-что! Ты все занят ведь? – ответила Валентина.

– Нет, не особенно: и занят, и нет! Живу как в бреду; сам еще не знаю, что у меня выйдет!

– Да уж вышло, Егор! Будет тебе скромничать!

– Не совсем, Валя, не совсем! Я открыл еще нечто такое, что сердце останавливается...

– Что это такое? Про эфирный тракт все?

– Нет, это другое совсем. Эфирный тракт – пустяки!.. Как вселенная, Валя, родилась и рождается, как вещество начинает дышать в недрах хаоса, свободы и узкой неизбежности мира! Вот, Валя, где хорошо! Но я только чувствую, а ничего не знаю... Ну, ладно! А где твой отец?

– Отец на Камчатке...

– Что, все эту несчастную планетку бурят? Черт, даже мне она надоела! Сколько лет ведь прошло, как она села с неба, еще отец был жив!..

– Да, все бурят, Егорушка!

– Ну, а что они там находят – отец не пишет?

– Пишет, что находят сплавы разных металлов, но все эти металлы известны людям.

– Так, а еще что пишет?

– Еще пишет, что нашли какой-то круглый предмет...

– Ну, какой? Говори скорее!..

– И этот шар ничему не поддается – никакая механическая обработка его не берет, и ни на какой химический реактив он не отвечает. Полный нейтралитет!

– Ого! Ведь ты химик, Валя, что это, как ты думаешь?

– Ну, куда мне, Егор, что ты? Я тебя хотела спросить.

– А черт его знает что это такое! Мало ли чего нет в этой пучине, откуда к нам свет идет и метеоры летят!

– А когда, Егор, ты покажешь свой эфирный тракт?

– Да вот как-нибудь покажу. Сначала книжку напишу.

– Кому ты ее посвятишь?

– Отцу, конечно, – инженеру Михаилу Кирпичникову, страннику и электротехнику.

– Это очень хорошо, Егор! Чудесно, как в сказке, – страннику и электротехнику!

– Да, Валя. Я забыл лицо отца, помню, что он был молчаливый и рано вставал. Как странно он умер, ведь он почти открыл эфирный тракт!

– Да, Егор! И мать твоя старушкой стала!.. Может, ты проводишь меня немного? А то поздно, а ночь хороша – я нарочно тихонько шла сюда.

– Провожу, Валя. Только недалеко, я хочу выспаться. Надо через два дня книжку в печать отдавать, а я только половину написал – не люблю писать, люблю что-нибудь существенное делать...

Они вышли в вестибюль, спустились на лифте и очутились на воздухе, в котором бродили усталые ночные течения.

Тихо двигалась по небу луна. Быть может, там сейчас лежало оледенелое тело инженера Крейцкопфа, навеки одинокое.

Егор и Валя шли под руку. В голове Егора струились неясные мысли, угасая, как ветры в диком и темном поле, зажигаясь от контакта с милой девушкой, такой человеческой и женственной. Но Кирпичников изобретал не одной головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое чувство тоски. Силы его сердца были мобилизованы на другое.

Москва засыпала. Невнятно и смутно шумели какие-то далекие машины. Бессонно стояла луна, маня человека к полету, странствию и глубокому вздоху в межпланетной бездне.

Егор пожал руку Вале, хотел ей что-то сказать, – какое-то медленное и девственное слово, которое каждый человек говорит по разу в жизни, но ничего не сказал и молча пошел домой.

Мать его спала, и чертежный стол томился по нем.

Сняв башмаки и потушив свет, Егор вдруг вспомнил про находку Крохова на камчатском болиде – молчаливый шар, который нельзя ни разрубить, ни разесть кислотами.

– Спрессованный эфир! – вслух сказал Егор. – Трупы электронов, втиснутые один в другой! Да – их действительно ничем не возьмешь – смерть примитивная и абсолютная!

Егор укрылся одеялом и уже сквозь сон подумал: «А что спрессовало эфир?» – и заснул.

Во сне он увидел огромную роскошную книгу, а себя – семилетним мальчиком. В книге он прочел середину страницы:

«Жизнь – порочный факт, каждое существо норовит сделать такое, чего никогда не было и не будет, поэтому многие явления живой природы необъяснимы и не имеют подобия во вселенной. Так умирающий электрон, ища в эфире труп своей невесты, может стянуть к себе весь космос, сплотить его в камень чудовищного удельного веса, а сам погибнет в его каменном центре от отчаяния, масштаб которого подобен расстоянию от Земли до Млечного Пути. Пусть тогда догадается ученый о тайне небесного мертвого камня!.. Пусть родится мозг, могущий вместить чудовищную сложность и страшную порочную красоту вселенной!»

Проснувшись, Егор забыл свой сон навсегда, на всю жизнь.

* * *

Двадцатого марта не так велики дни и кратки ночи, чтобы утренняя заря загорелась в час пополуночи. Так еще не бывало никогда, даже старики не помнят.

А однажды случилось так. Московские люди расходились по домам – кто из театра, кто с ночной работы на заводе, кто просто с затянувшейся беседы у друга.

В этот вечер в Большом зале Филармонии был концерт знаменитого пианиста Шахтмайера, родом из Вены. Его глубокая подводная музыка, полная того величественного и странного чувства, которое нельзя назвать ни скорбью, ни экстазом, – потрясла его слушателей. Молчаливо расходились люди из Филармонии, ужасаясь и радуясь новым и неизвестным недрам и высотам жизни, о которых рассказал Шахтмайер стихийным языком музыки.

В Политехническом музее в половине первого кончился доклад Макса Валира, возвратившегося с полдороги на Луну. В ракете его

конструкции обнаружился просчет; кроме того, среда между Землей и Луной оказалась совсем иной, чем о ней предполагали с Земли, поэтому Валир вернулся обратно. Аудитория была взволнована до крайней степени докладом Валира и, заряженная волей и энтузиазмом великой попытки, со страшным шумом, лавой растекалась по Москве. В этом отношении слушатели Валира и Шахтмайера резко отличались друг от друга.

А высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятилась в размерах и затем стала излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к земле, и было видно его содрогающееся движение, как будто он встречал упорные встречные силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб синего немерцающего мертвого огня установился между землей и бесконечностью, а синяя заря охватила все небо. И сразу ужаснуло всех, что исчезли все тени: все предметы поверхности земли были окунуты в какую-то немую, но все пронзающую влагу – и не было ни от чего тени.

В первый раз с постройки города в Москве замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул. Всякое движение остановилось; кто ехал, тот забыл продолжать путь, кто стоял на месте, тот не вспомнил о цели, куда его влекло.

Тишина и синее мудрое сияние стояли одни над землею, обнявшись.

И было так безмолвно, что, казалось, звучала эта странная заря – монотонно и ласково, как пели сверчки в нашем детстве.

В весеннем воздухе каждый голос звонок и молод – пронзительно и удивленно крикнул женский голос под колоннами Большого театра: чья-то душа не выдержала напряжения и сделала резкое движение, чтобы укрыться от этого очарования.

И сразу тронулась вся ночная Москва: шоферы нажали кнопки стартеров, пешеходы сделали по первому шагу, говорившие закричали, спящие проснулись и бросились на улицу, каждый взор обратился навзничь к небу, каждый мозг забился от возбуждения.

Но синяя заря начала угасать. Темнота заливала горизонты, спираль свертывалась, забираясь в глубину Млечного Пути, затем

осталась яркая вращающаяся звезда, но и она таяла на живых глазах – и все исчезло, как беспмятное сновидение. Но каждый глаз, глядевший на небо, еще долго видел там синюю кружащуюся звезду, – а ее уже не было, и по небу шел обычный звездный поток.

И всем стало отчего-то скучно, хотя никто почти не знал, в чем дело.

* * *

Утром в «Известиях» было помещено интервью с инженером Кирпичниковым.

Объяснение ночной зари над миром.

С большим трудом наш корреспондент проник в Микробиологическую лабораторию имени проф. Маранда. Это произошло в четыре часа ночи, непосредственно после оптического явления в эфире. В лаборатории корреспондент застал спящего Г. М. Кирпичникова – известного инженера, конструктора приборов для размножения материи, открывшего так называемый «эфирный тракт».

Наш корреспондент не осмелился будить усталого изобретателя, однако обстановка лаборатории позволила увидеть все результаты ночного эксперимента.

Кроме приборов, необходимых для производства эфирного тракта и аккумуляции мертвых электронов, на столе изобретателя лежала старая, желтая рукопись. На открытой странице ее было написано: «Дело техников теперь разводит железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Кому принадлежат эти слова, корреспондентом пока не установлено.

Половину экспериментальной залы занимало блестящее тело. По рассмотрении это оказалось железом. Форма железного тела – почти правильный куб, размером 10 x 10 x 10 метров. Непонятно, каким образом такое тело могло попасть в залу, так как существующие в ней окна и двери позволяют внести тело размером не больше половины

указанных. Остается одно предположение – железо в залу ниоткуда не вносилось, а выращено в самой зале. Эта достоверность подтверждена журналом экспериментов, лежавшим на том же столе, где и рукопись. Рукою Г. М. Кирпичникова там записаны размеры подопытного тела: «Мягкое железо, размером 10 x 10 x 10 сантиметров – 1 ч. 25 мин., оптимальный вольтаж». Дальнейших записей в журнале не имеется. Таким образом, в течение 2–3 часов железо в объеме увеличилось в 100 раз. Такова сила эфирного питания электронов.

В зале стоял какой-то ровный и постоянный шум, на который наш корреспондент вначале не обратил внимания. Осветив залу, наш сотрудник обнаружил некое чудовище, сидящее на полу близ железной массы. Рядом с неизвестным существом лежали сложные части разрушенного прибора, как бы пережженные вольтовой дугой. Животное издавало ровный стон. Корреспондент его сфотографировал (см. ниже). Наибольшая высота животного – метр. Наибольшая ширина – около половины метра. Цвет его тела – красно-желтый. Общая форма – овал. Органов зрения и слуха – не обнаружено. Кверху поднята огромная пасть с черными зубами, длиною каждый по 5–4 сантиметра. Имеются четыре короткие (1/4 метра) мощные лапы с налившимися мускулами; в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним могущественным пальцем, в форме эластичного сверкающего копыя. Животное стоит на толстом сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая тремя зубьями. Зубы в отверзтой пасти имеют нарезку и вращаются в своих гнездах. Это странное и ужасное существо очень прочно сложено и производит впечатление живого куска металла.

Шум в лаборатории производил гул этого гада: вероятно, животное голодно. Это, несомненно, искусственно откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон.

В заключение редакция поздравляет читателей и страну с новой победой научного гения и радуется, что эта победа

выпала на долю молодого советского инженера.

Искусственное выращивание железа и вообще размножение вещества даст Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной, капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Но, к сожалению, империализм никогда не обладал такими ценными качествами.

Реввоенсоветом и ВСНХ Союза уже приняты соответствующие меры для обеспечения монопольного пользования государством изобретениями Г. М. Кирпичникова.

Г. М. Кирпичников – член партии и Исполбюро КИМа, и от него еще несколько месяцев назад правительством получено согласие на передачу всех своих открытий и конструкций в пользу государства, и притом безвозмездно. Правительство, конечно, целиком и полностью обеспечит Г. М. Кирпичникову возможность дальнейшей работы.

Сегодня в 1 час дня Г. М. Кирпичников будет иметь свидание с предсовнаркома Союза т. Чаплиным.

Вся Москва – этот новый Париж социалистического мира – пришла в исступление от такой заметки. Живой, страстный, общественный город весь очутился на улицах, в клубах, на лекциях – везде, где пахло хотя бы маленькими новыми сведениями о работах Кирпичникова.

День родился солнечным, снег подтаивал, и невероятная надежда разрасталась в человеческой груди. По мере движения солнца к полуденному зениту все яснее в мозгу человека освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой души, обнявшей стихию мира, как невесту.

Люди не находили слов от радости технической победы, и каждый в этот день был благороден.

Что может быть счастливее и тревожнее того дня, который служит кануном технической революции и неслыханного обогащения общества?

В «Вечерней Москве» появилось описание рабочего собрания завода «Генератор», где Егор Кирпичников отбывал свою двухлетнюю студенческую практику.

На собрание прибыли предсовнаркома Чаплин и Кирпичников. Их встретили восемь тысяч мастеровых и специалистов, стоя на ногах.

Кирпичников сделал доклад об открытии эфирного тракта и его промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. Он начал с работ аюнитов в этом направлении, подробно остановился на трудах Ф. К. Попова, которого и следует считать изобретателем эфирного тракта, затем изложил историю поисков своего отца и закончил кратким указанием на свою работу, завершающую труд всех предшественников.

Тов. Чаплин доложил о том, что намерено сделать правительство, чтобы изобретение Кирпичникова принесло наибольшую пользу обществу.

Мастеровые подняли на руки Кирпичникова и Чаплина и пронесли их между моторами и станками до автомобилей.

Чаплин поехал в Кремль, а Кирпичников – к матери на Большой Златоустинский.

* * *

Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому незнаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством.

Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устройением общества и природы.

Наступило новое лето. Егор Кирпичников устал от эфирного тракта и беспомощно затосковал по далеким и смутным явлениям, как это с ним бывало не раз.

Он снова убивал дни, скитаясь и наслаждаясь одиночеством – то в Останкино, то в Серебряном бору, то уезжая на Ладожское озеро, которое он так любил.

– Тебе, Егор, влюбиться надо! – говорили ему друзья. – Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травую пахнет!..

– Оставьте, – отвечал Егор. – Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать, – работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

– А ты женись! – советовали все-таки ему.

– Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

– Что тогда?

– Тогда... уйду странствовать, и думать о любимой.

– Станный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет... Инженер, коммунист, а мечтает!..

В мае был день рождения Валентины Кроховой Валентина весь день читала Пушкина и плакала: ей сравнялось двадцать лет. Вечером она надела серое платье, поцеловала перстень на пальце – подарок отца – и стал ждать Егора с матерью и еще двух подруг. Она убрала стол, в комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека.

Огромное окно было распахнуто, но видно в него одно небо и шевелящийся воздух на страшной высоте.

Пробило семь часов. Валентина села за рояль и сыграла несколько этюдов Шахтмайера и Метнера. Она не могла отделаться от своей сердечной тревоги и не знала, что ей делать – расплакаться или сжать зубы и не надеяться.

Весенняя природа волновалась страстью размножения и жаждала забвения жизни в любви. И в круг этих простых сил была включена Валентина Крохова и не могла от них отбиться. Ни разум, ни чужое страдание в поэмах и в музыке – ничто не помогло горю ее молодости. Ей нужен был поцелуй, а не философия и даже не красота. Она привыкла честно мыслить и понимала это.

В восемь часов к ней постучали. Принесли телеграмму от Егора. В ней стояли странные, шуточные и жестокие слова, и притом в стихах, к которым Егор питал влечение с детства:

Дарю тебе луну на небе
И всю живую траву на земле, –
Я одинок и очень беден,
Но для тебя – мне нечего жалеть.

Валентина не поняла, но к ней вошли веселые подруги.

В одиннадцать часов Валентина выпроводила подруг и пошла к Егору, зажженная темным отчаянием.

Ее встретила Мария Александровна. Егора дома не было, уже вторые сутки. Валентина посмотрела на бланк телеграммы: она была подана из Петрозаводска.

– А я думала, он у вас будет сегодня вечером! – сказала Мария Александровна.

– Нет, его у меня не было!

И обе женщины молча сели, ревнуя друг к другу утраченного и томясь одинаковым горем.

* * *

В августе Мария Александровна получила письмо от Егора из Токио.

Мама. Я счастлив и кое-что постиг. Конец моей работы близок. Только бродя по земле, под разными лучами солнца и над разными недрами, я способен думать. Я теперь понял отца. Нужны внешние силы для возбуждения мыслей. Эти силы рассеяны по земным дорогам, их надо искать и под них подставлять голову и тело, как под ливни. Ты знаешь, что я делаю и ищу – корень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних философских мечтаний это стало научной задачей дня. Надо же кому-нибудь это делать, и я взялся. Кроме того, ты знаешь мои живые мускулы, они требуют напряжения и усталости, иначе я бы затомился и убил себя. У отца тоже было это чувство; быть может, это болезнь, быть может, это дурная наследственность от

предков – пеших бродяг и киевских богомольцев. Не ищи меня и не тоскуй, – сделаю задуманное, тогда вернусь. Я думаю о тебе, ночью в стогах сена и в куренях рыбаков. Я тоскую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова. Быть может, верно, жизнь – порочный факт, и каждое дышащее существо – чудо и исключение. Тогда я удивляюсь, и мне хорошо думать о своей милой матери и неотомщенном отце.

Егор.

* * *

Тридцать первого декабря в Москве было получено известие о смерти Егора Кирпичникова в Буэнос-Айресе, в тюрьме. Он был арестован вместе с бандитами, грабившими скорые поезда. В тюрьме он заболел тропической малярией. Вся шайка была приговорена к повешению. Так как Кирпичников не мог идти на виселицу, валяясь в предсмертном бреде, то ему дали яду, и он, не помня уже ничего о жизни, скончался.

Труп его, наравне с повешенными бандитами, был брошен в илистые воды Амазонки и смыт в Тихий океан. Виселицы стояли на самом берегу Амазонки; их также после казни бросили в реку, и они поплыли, таща трупы в своих мертвых петлях.

На запросы советского правительства о такой расправе с человеком, который не мог быть преступником и попал в шайку по неизвестному случаю, бразильское правительство ответило, что оно не знало, что в его руках Кирпичников; при аресте же он отказался назвать себя, а потом заболел и ни разу не приходил в сознание во время следствия.

* * *

Мария Александровна поставила новую урну в Доме воспоминаний в Серебряном бору, рядом с урной своего мужа.

На ней значилось:

«Егор Кирпичников. Погиб 29 лет. Изобретатель эфирного тракта – последователь Ф. К. Попова и своего отца. Вечная слава и скорбная память зодчему новой природы».

Владимир Владимирович Набоков

Сказка

Фантазия, трепет, восторг фантазии... Эрвин хорошо это знал. В трамвае он садился всегда по правую руку, – чтобы ближе быть к тротуару. Ежедневно, дважды в день, в трамвае, который вез его на службу и со службы обратно, Эрвин смотрел в окно и набирал гарем.

Один тротуар он разрабатывал утром, когда ехал на службу, другой – под вечер, когда возвращался, – и сперва один, потом другой купался в солнце, так как солнце тоже ехало и возвращалось. Нужно иметь в виду, что только раз за свою жизнь Эрвин подошел на улице к женщине, – и эта женщина тихо сказала: «Как вам не стыдно... Подите прочь». С тех пор он избегал разговоров с ними. Зато, отделенный от тротуара стеклом, прижав к ребрам черный портфель и вытянув ногу в задрипанной полосатой штанине под супротивную лавку, – Эрвин смело, свободно смотрел на проходивших женщин, – и вдруг закусывал губу; это значило – новая пленница; и тотчас он оставлял ее, и его быстрый взгляд, прыгавший, как компасная стрелка, уже отыскивал следующую. Они были далеко от него, и потому хмурая робость не примешивалась к наслаждению выбора. Если же случалось, что милостивая женщина садилась против него, он втягивал ногу из-под лавки со всеми признаками досады – не свойственной, впрочем, его очень юным летам, – и потом не мог решиться посмотреть в лицо этой женщины, – вот тут, в лобных костях, над бровями, так и ломило от робости, – словно сжимал голову железный шлем, не давал поднять глаза, – и какое это было облегчение, когда она поднималась и шла к выходу. Тогда, в притворном рассеянии, он оборачивался, хапал взглядом ее прелестный затылок, шелковые икры, – и приобщал ее к своему несуществующему гарему. И потом снова лился мимо окон солнечный тротуар, и Эрвин, вытянув одну ногу, повернув к стеклу тонкий, бледный нос, с заметной выемкой на кончике, выбирал невольниц, – и вот, что такое фантазия, трепет, восторг фантазии.

Однажды в субботу, легким майским вечером, Эрвин сидел в открытом кафе и глядел, изредка захватывая резцом нижнюю губу, на вечерних, прохлаждавшихся прохожих. Небо было сплошь розоватое,

и в сумерках каким-то неземным огнем горели фонари, лампочки вывесок. Высокая пожилая дама в темно-сером костюме, тяжело играя бедрами, пройдя меж столиков и не найдя ни одного свободного, положила большую руку в блестящей черной перчатке на спинку пустого стула против Эрвина.

– Да, пожалуйста, – с легким нырком сказал Эрвин. Таких крупных пожилых дам он не очень боялся.

Она молча села, положила на стол свою сумку – прямоугольную, скорее похожую на небольшой черный чемоданчик, и заказала порцию кофе с яблочным тортом. Голос у нее был густой, хрипловатый, но приятный.

Огромное небо, налитое розоватой мутью, темнело, мигали огни, промахнул трамвай и разрыдался райским блеском в асфальте. И проходили женщины.

– Хорошо бы вот эту, – кусал губу Эрвин. И затем, через несколько минут: – и вот эту.

– Что же, это можно устроить, – сказала дама тем же спокойным тускловатым голосом, каким говорила с лакеем.

Эрвин от изумления привстал. Дама смотрела на него в упор, медленно расстегивая и стягивая с руки перчатку. Ее подтушеванные глаза, как яркие поддельные камни, блестели равнодушно и твердо, под ними взбухали темные мешочки, снятая перчатка обнаружила большую морщинистую руку с миндалевидными, выпуклыми, очень острыми ногтями.

– Не удивляйтесь, – усмехнулась дама – и затем, с глухим зевком, добавила: – дело в том, что я – черт.

Оробевший Эрвин принял было это за иносказание, но дама, понизив голос, продолжала так:

– Очень напрасно меня воображают в виде мужчины с рогами да хвостом. Я только раз появилась в этом образе, и право не знаю, чем именно этот образ заслужил такой длительный успех. Я рождаюсь три раза в два столетия. Последний раз была корошкой в африканском захолустье. Это был отдых от более ответственных воплощений. А ныне я госпожа Отт, три раза была замужем, довела до самоубийства нескольких молодых людей, заставила известного художника срисовать с фунта вестминстерское аббатство, подговорила

добродетельного семьянина –...впрочем, я не буду хвастать. Как бы то ни было, я этим воплощением насытилась вполне...

Эрвин пробормотал что-то и потянулся за шляпой, упавшей под стол.

– Нет, погодите, – сказала госпожа Отт, ввертывая в эмалевый мундштук толстую папиросу. – Я же вам предлагаю гарем. А если вы еще не верите в мою силу... Видите, вон там через улицу переходит господин в черепаховых очках. Пускай на него наскочит трамвай.

Эрвин, мигая, посмотрел на улицу. Господин в очках, дойдя до рельс, вынул на ходу носовой платок, хотел в него чихнуть, – и в это мгновение блеснуло, грянуло, прокатило. Люди в кафе ахнули, повскачили с мест. Некоторые побежали через улицу. Господин, уже без очков, сидел на асфальте. Ему помогли встать, он качал головой, тер ладони, виновато озирался.

– Я сказала: наскочит, – могла сказать: раздавит, – холодно проговорила госпожа Отт. – Во всяком случае это пример.

Она выпустила сквозь ноздри два серых клыка дыма и опять в упор уставилась на Эрвина.

– Вы мне сразу понравились. Эта робость... Это смелое воображение... Нынче мой предпоследний вечер. Положение стареющей женщины мне порядком надоело. Да кроме того я так накудесила на днях, что лучше поскорее из жизни выбраться. В понедельник на рассвете предполагаю родиться в другом месте...

– Итак, милый Эрвин, – продолжала госпожа Отт, принимаясь за кусок яблочного торта, – я решила невинно поразвлечься, и вот что я вам предлагаю: завтра, с полудня до полночи вы можете отмечать взглядом тех женщин, которые вам нравятся, и ровно в полночь я их всех соберу для вас в полное ваше распоряжение. Как вы смотрите на это?

Эрвин опустил глаза и тихо произнес:

– Если все это правда, то это большое счастье...

– Ну вот и ладно, – сказала госпожа Отт.

– Однако я должна поставить вам одно условие, – продолжала она, слизывая крем с ложечки. – Нет, не то, что вы думаете. Я в свое время уже запаслась очаровательной душой для следующего моего воплощения. Вашей души мне не нужно. А условие вот какое: число

ваших избранниц должно быть нечетное. Это – непременно. Иначе я вам ничего устроить не могу.

Эрвин кашлянул и почти шепотом спросил:

– А... как же мне знать... Ну, например, я отметил: – что дальше?

– Ничего, – сказала госпожа Отт. – Ваше чувство, ваше желание – уже приказ. Впрочем, для того, чтобы вы знали, что сделка совершена, что я согласна на тот или другой выбор ваш, я всякий раз вам дам знак: случайную улыбку самой женщины или просто слово, сказанное в толпе, – вы уж поймете.

– Да, вот еще, – сказал Эрвин, шаркая под столом подошвами. – Где же это будет – ну – происходить? У меня комната маленькая.

– Об этом не беспокойтесь, – сказала госпожа Отт и, скрипнув корсетом, встала. – Теперь вам пора домой. Не мешает хорошо выспаться. Я вас подвезу.

И в открытом таксомоторе, в налетающих струях темного ветра, между звездным небом и звездным асфальтом, Эрвин почувствовал, что счастлив чрезвычайно. Госпожа Отт сидела очень прямо, острым углом перекинув ногу на ногу – и в ее твердых блестящих глазах мелькали ночные огни города.

Ветер остановился.

– Ну вот и ваш дом, – сказала она, тронув Эрвина за локоть. – До свидания.

Мало ли какие мечты нагонит кружка черного густого пива, проколотого молнией коньяка? Проснувшись на следующее утро, Эрвин так и подумал, – что был пьян, что сам вообразил разговор с пожилой странной дамой в кафе. Но постепенно припоминая всякие мелочи вчерашней встречи, – он понял, что одним воображением всего этого не объяснишь.

Вышел он на улицу около половины первого. И оттого, что было воскресенье, и оттого, что вокруг шалаша уборной на углу лиловой бурей кипела персидская сирень, Эрвин чувствовал замечательную легкость, – а ведь легкость – это почти полет. Посредине сквера в квадратной ямине дети, подняв маленькие фланелевые зады, лепили чудеса из песка. Глянцевитые листья лип трепетали, темные сердечки их теней трепетали на гравии, поднимались легкой стаей по штанам и юбкам гуляющих, взбегали, рассыпались по лицу и плечам, – и всю стаей соскальзывали опять на землю, где, чуть шевелясь, ожидали

следующего прохожего. И, проходя по скверу, Эрвин увидел девушку в белом платье, сидевшую на корточках и двумя пальцами теребившую толстого мохнатого щенка со смешными бородавками на брюхе. Она нагибала голову – сзади оголялась шея – перелив хребта, светлый пушок, круглота плеч, разделенных нежной выемкой, – и солнце находило жаркие золотистые пряди в ее каштановых волосах. Продолжая игру со щенком, она встала с корточек и, глядя вниз на него, хлопнула в ладоши, – и щенок перевернулся на земле, отбежал в сторону, мягко упал на бок. Эрвин присел на скамейку и мгновенным, робким и жадным взглядом окинул ее лицо. Он увидел его так ясно, так пронзительно, с такой совершенной полнотой восприятия, что быть может долгие годы близости ничего не могли бы открыть ему нового в этих чертах. Ее неяркие губы чуть вздрагивали, словно повторяя все маленькие, мягкие движения щенка, вздрагивали ее ресницы, – такие сверкающие, что казались тонкими лучами ее играющих глаз, – но быть может прелестнее всего был изгиб щеки – слегка в профиль, – этого изгиба, конечно, никакими словами не изобразишь. Она побежала, замелькали ее гладкие ноги, – за ней покатился мохнатым шариком щенок. И вдруг Эрвин вспомнил, какая власть ему дана, – и затаив дыхание, стал ждать знака, и в это мгновение девушка на бегу обернулась и сверкнула улыбкой на живой шарик, едва поспевавший за ней.

– Первая, – мысленно сказал Эрвин и встал со скамейки.

Пошаркивая по гравию ярко-желтыми, почти оранжевыми башмаками, Эрвин вышел из сквера. Его взгляд постреливал по сторонам, – но, потому ли, что девушка со щенком оставила в его душе солнечную впадину, – он все не мог найти женское лицо, которое бы ему понравилось. Вскоре, однако, эта солнечная щель затянулась, и вот, у стеклянного столба с расписанием трамваев, Эрвин заметил двух молодых дам, – судя по сходству, сестер, – звонко обсуждавших маршрут. Обе были худенькие, в черном шелку, слегка подкрашенные, с живыми глазами.

– Тебе нужно сесть вот в этот номер, именно вот в этот, – говорила одна.

– Обеих, пожалуйста, – быстро попросил Эрвин.

– Ну, да, как же иначе... – ответила вторая на слова сестры.

Эрвин сошел с тротуара, пересек площадь. Он знал все места, где понаряднее, где больше возможностей.

– Три, – сказал он про себя. – Нечет. Пока, значит, все хорошо. И если бы сейчас была полночь...

Она сходила по ступенькам подъезда, раскачивая в руке сумку. За нею вышел, закуривая сигару, высокий господин, с синими от бритья щеками и крепким, как пятка, подбородком. Дама была без шляпы, ее темные волосы, остриженные по-мальчишески, ровной каймой закрывали лоб. На отвороте жакетки пунцовела большая поддельная роза. Когда она прошла, Эрвин заметил, от двери слева, папиросную рекламу – светлоусый турок в феске и крупное слово: «Да!» – а под ним помельче: «я курю только Розу Востока».

Почувствовав приятный холодок, он отправился в дешевый ресторан, сел в глубине, у телефонного аппарата, оглядел обедающих. Ни одна из дам не прельщала его. «Может быть эта. Нет, обернулась – стара... Никогда не нужно судить по спине».

Лакей принес обед. К телефону рядом подошел мужчина в котелке, вызвал номер и стал взволнованно кричать, как пес, попавший на свежий след зайца. Блуждающий взгляд Эрвина пополз к стойке и нашел там деловитую девицу, ставившую на поднос только что вымытые пивные кружки. Он скользнул по ее оголенным рукам, по бледному, рябоватому, но чрезвычайно миловидному лицу и подумал: «Ну, что ж – и вот эту».

– Да! Да! Да! – взволнованно лаял мужчина в телефонную воронку.

Пообедав, Эрвин отяжелел, – решил, что хорошо бы соснуть часок. По правде сказать, оранжевые башмаки жали пребольно. Было душновато. Огромные жаркие облака белыми куполами вздымались и теснили друг друга. Народ на улицах поредел, – зато так и чувствовалось, что дома наполнены до краев густым послеобеденным храпом. Эрвин сел в трамвай.

Вагон рванулся и, покрякивая, покатил. Эрвин, повернув к стеклу бледный запотевший нос, ловил взглядом мелькавшие женские лица. Платя за билет, он заметил, что слева от прохода сидит, обернувшись к нему черной бархатной шляпой, дама в легком платье, разрисованном желтыми цветами, переплетающимися по лиловатому полупрозрачному фону, сквозь который проступали светлые

перехваты лифа, – и крупная стройность этой дамы возбудила в нем желание взглянуть и на ее лицо. Когда ее шляпа нагнулась, черным кораблем стала поворачиваться, – он, по своему обыкновению, отвел глаза, в притворном рассеянии поглядел на сидевшего против него мальчика, на краснощекого старичка, дремавшего в глубине – и получив, таким образом, точку опоры, оправдания для дальнейшего исследования – поглядываю, мол, по сторонам, – Эрвин, все так же небрежно, перевел взгляд на даму. Это была госпожа Отт. От жары кирпичные пятна расплылись по ее несвежему лицу, черные, густые брови шевелились над светлыми, острыми глазами, улыбка поднимала уголки сжатых губ.

– Здравствуйте, – сказала госпожа Отт своим мягким хрипловатым голосом. – Пересядьте сюда. Так. Теперь мы можем поболтать. Как ваши дела?

– Всего пять, – смущенно ответил Эрвин.

– Превосходно. Нечетное число. Я вам посоветовала бы на этом и остановиться. А в полночь... Да, я, кажется, вам еще не сказала... В полночь придете на улицу Гофмана – знаете, где это? Там отыщете номер тринадцатый. Небольшая вилла с садиком. Там вас будут ждать ваши избранницы. Я же встречу вас у калитки, – но, разумеется, – добавила она с тонкой улыбкой, – я мешать вам не буду... Адрес запомните?

– Вот что, – сказал Эрвин, набравшись храбрости, – пожалуйста, пускай они будут в тех же платьях, и пускай они будут сразу очень веселые, очень ласковые...

– Ну, разумеется, – ответила госпожа Отт. – Все будет именно так, как вы желаете. Иначе не стоило затевать эту историю, не правда ли? А признайтесь, милый Эрвин, что вы чуть-чуть и меня не отметили для вашего гарема? Ах, нет, не бойтесь, – я же отлично знаю... Я просто шучу... Вам нужно выходить? Домой? Да, это правильно. Пять – число нечетное. Лучше держитесь за него. Итак, – до полночи.

Эрвин, не глядя по сторонам, вернулся к себе, разулся и со вздохом удовлетворения растянулся на постели. Проснулся он под вечер. Свет на дворе был ровнее; невдалеке медовым тенором заливался соседский граммофон.

– Первая – девушка со щенком, – стал вспоминать Эрвин – это самая простенькая. Я, кажется, поспешил. Ну, все равно. Затем – две

сестры у трамвайного столба. Веселые, подкрашенные. С ними будет приятно. Затем – четвертая – с розой, похожая на мальчишку. Это совсем хорошо. И наконец: девица в ресторане. Тоже ничего. Но всего только пять – маловато.

Он полежал, закинув руки под затылок, послушал граммофонный тенор.

– Пять... Нет, маловато. Ах, всякие еще бывают... Удивительные...

И Эрвин вдруг не выдержал. Он, торопясь, привел свой костюм в порядок, прилизал волосы и, волнуясь, вышел на улицу.

Часам к девяти он набрал еще двух. Одну он заметил в кафе: она говорила со своим спутником на незнакомом языке – по-польски или по-русски, – и глаза у нее были серые, чуть раскосые, нос тонкий, с горбинкой, морщился, когда она смеялась, стройные нарядные ноги были видны до колен. Пока Эрвин искоса смотрел на нее, она в свою шелестящую речь вставила случайную немецкую фразу, – и Эрвин понял, что это знак. Другую женщину, седьмую по счету, он встретил у китайских ворот увеселительного парка. На ней была красная кофточка и зеленая юбка, ее голая шея вздувалась от игривого визга. Двое грубых, жизнерадостных юношей хватили ее за бока, и она локтями от них отбивалась.

– Хорошо, – я согласна! – крикнула она наконец.

В увеселительном парке разноцветным огнем играли слоеные фонарики. Вагонетка с воплем мчалась вниз по извилистому желобу, пропадала меж кривых средневековых декораций и опять ныряла в бездну с тем же истошным воплем. В небольшом сарае, на четырех велосипедных седлах – колес не было, только рама, педали и руль – сидели верхом четыре женщины в коротких штанах – красная, синяя, зеленая, желтая – и всю работу голыми ногами. Над ними был большой циферблат, по нему двигались четыре стрелки – красная, синяя, зеленая, желтая, – и сперва эти стрелки шли тесным разноцветным пучком, потом одна подалась вперед, другая обогнала ее, третья тугими толчками перегнала обеих. Рядом стоял человек со свистком.

Эрвин поглядел на сильные голые ноги женщин, на гибко согнутые спины, на разгоряченные лица с яркими губами, с синими

крашеными ресницами. Одна из стрелок уже кончила круг... еще толчок... еще...

«Они, наверное, хорошо пляшут, – покусывая губу, подумал Эрвин. – Мне бы всех четырех».

– Есть! – крикнул человек со свистком, – и женщины разогнулись, посмотрели на циферблат, на стрелку, пришедшую первой.

Эрвин выпил пива в расписном павильоне, поглядел на часы и медленно направился к выходу.

– Одиннадцать часов и одиннадцать женщин. Пора остановиться.

Он прищурился, воображая предстоящее наслаждение, и с удовольствием подумал, что нынче белье на нем – чистое.

– Моя госпожа Отт, небось, будет подглядывать, – усмехнулся он про себя. – Ну, что ж, ничего. Это будет, так сказать, перец...

Он шел, глядя себе под ноги, изредка только проверяя названия улиц. Он знал, что улица Гофмана далеко, за Кайзердаммом, но оставалось около часу, можно было не очень торопиться. Опять, как вчера, небо кишело звездами, и блестел асфальт, как гладкая вода, отражая, удлинняя, впитывая в себя волшебные огни города. На углу, где свет кинематографа обливал тротуар, Эрвин услышал короткий раскат детского смеха и, подняв глаза, увидел перед собой высокого старика в смокинге и девочку, шедшую рядом, – девочку лет четырнадцати в темном нарядном платье, очень открытом на груди. Старика весь город знал по портретам. Это был знаменитый поэт, дряхлый лебедь, одиноко живший на окраине. Он ступал с какой-то тяжелой грацией, волосы, цвета грязной ваты, спадали на уши из-под мягкой шляпы, играл огонек посреди крахмального выреза на груди, и от длинного костистого носа теневое пятно косо падало на тонкие губы. И взгляд Эрвина, дрогнув, перешел на лицо девочки, семенившей рядом, – что-то было в этом лице странное, странно скользнули ее слишком блестящие глаза – и если б это была не девочка – внучка, верно старика, – можно было подумать, что губы ее тронуты кармином. Она шла, едва-едва поводя бедрами, тесно передвигая ноги, она что-то звонко спрашивала у своего спутника, – и Эрвин ничего мысленно не приказал, но вдруг почувствовал, что его тайное мгновенное желание исполнено.

– Ну, конечно, конечно, – вкрадчиво отвечал старик, наклоняясь к девочке.

Они прошли. Пахнуло духами. Эрвин обернулся, затем продолжал свой путь.

«Однако, – вдруг спохватился он. – Двенадцать – число четное. Нужно еще одну, и нужно успеть до полночи...»

Ему было досадно, что приходится еще искать, – и вместе с тем приятно, что есть еще одна возможность.

«По дороге найду, – успокаивал он себя. – Несомненно найду...»

– Может быть, это будет лучшая из всех, – вслух сказал он и стал зорко всматриваться в блестящую темноту.

И вскоре он ощутил знакомое сладкое сжатие, холодок под ложечкой. Перед ним быстро и легко шла женщина. Он видел ее только со спины, – он не мог бы объяснить, что именно так взволновало его, отчего с такой мучительной жадностью ему захотелось ее обогнать, заглянуть ей в лицо. Можно было бы, конечно, случайными словами описать ее походку, движение плеч, очерк шляпы – но стоит ли? Что-то вне зримых очертаний, какой-то особый воздух, воздушное волнение, – влекло за собой Эрвина. Он шел быстро, но все же не мог поравняться с ней, в глазах мелькал влажный блеск ночных отражений, женщина шла ровно и легко, и ее черная тень вдруг взмахивала, попав в царство фонаря, и, взмахнув, скользила по стене, перегибалась на выступе, пропадала на перекрестке.

– Боже мой, но ведь мне нужно видеть ее лицо, – волновался Эрвин. – И время идет.

Но потом он о времени забыл. Эта странная, молчаливая погоня по ночным улицам опьянила его. Он ускорил шаг, обогнал, далеко перегнал женщину, но из робости не посмел оглянуться, – только опять замедлил шаг, и она, в свой черед, его перегнала, да так быстро, что он не успел разглядеть. Снова он шел в десяти шагах за ней, – и уже знал, несмотря на то, что лица ее не видел, что это есть лучшая его избранница. Улица горела, прерывалась темнотой, снова горела, разливалась блестящей черной площадью, – и снова женщина легким толчком каблука ступала на панель, – и Эрвин за ней, растерянный, бесплотный, опьяненный туманом огней, ночной прохладой, погоней...

И опять он перегнал ее, и, опять оробев, не сразу повернул голову, и она прошла дальше, и он, отделившись от стены, понесся следом, держа шляпу в левой руке и взволнованно болтая правой.

Не походка, не облик ее... Что-то другое, очаровательное и властное, какое-то напряженное мерцание воздуха вокруг нее, – быть может, только фантазия, трепет, восторг фантазии, – а быть может, то, что меняет одним божественным взмахом всю жизнь человека, – Эрвин ничего не знал, – только шел по тротуару, ставшему тоже как бы бесплотным в ночной блестящей темноте, только смотрел на ту, которая быстро, легко и ровно шла перед ним.

И вдруг деревья, весенние липы, присоединились к погоне, – они шли и шушукались, с боков, сверху, повсюду; черные сердечки их теней переплетались у подножия фонаря; их нежный липкий запах подбодрял, подталкивал.

В третий раз Эрвин стал приближаться. Еще шаг... Еще. Сейчас обгонит. Он был уже совсем близко, когда внезапно женщина остановилась у чугунной калитки и звякнула связкой ключей. Эрвин, с разбега, едва не наскочил на нее. Она повернула к нему лицо, и при свете фонаря он узнал ту, которая утром, в солнечном сквере, играла со щенком, – и сразу вспомнил, сразу понял, всю ее прелесть, теплоту, драгоценное сияние. Он стоял и смотрел на нее, страдальчески улыбаясь.

– Как вам не стыдно... – сказала она тихо. – Подите прочь.

Калитка открылась и с грохотом хлопнула. Эрвин остался один под умолкшими липами. Постоял, затем надел шляпу и медленно отошел. Пройдя несколько шагов, он увидел два огненных пузыря, – открытый автомобиль, стоящий у панели. Он подошел, тронул за плечо неподвижного шофера.

– Скажите, какая это улица, – я заблудился.

– Улица Гофмана, – сухо ответил шофер.

И тогда знакомый, мягкий, хрипловатый голос раздался из глубины автомобиля:

– Здравствуйте, это я.

Эрвин оперся ладонью о край дверцы, вяло ответил:

– Здравствуйте.

– Я скучаю, – сказал голос. – Жду здесь моего приятеля. Мы с ним должны отправиться на рассвете. Как вы поживаете?

- Чет, – усмехнулся Эрвин, поводя пальцем по пыльной дверце.
- Знаю, знаю, – равнодушно ответила госпожа Отт. – Тринадцатая оказалась первой. Да, у вас это дело не вышло.
- Жалко, – сказал Эрвин.
- Жалко, – отозвалась госпожа Отт.
- Впрочем, все равно, – сказал Эрвин.
- Все равно, – подтвердила она и зевнула.

Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую пятью растопыренными пальцами и, кашлянув, повернул в темноту. Он шагал тяжело, ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник и что вставать будет трудно.

Благодарим Вас за то, что воспользовались проектом NemaloKnig.com - приходите ещё!

[Ссылка на Автора этой книги](#)

[Ссылка на эту книгу.](#)

notes

Примечания

1

Пиджаке (от фр. veston)

2

В прежнем положении (лат.)

3

«Правь, Британия!» (англ.)

4

Наусникам (от нем. Schnurrbartbindhalter)

5

Порода лошадей (от фр. percheron)

6

Мыслящим человеком (лат.)

Ибис обладает «магическими» свойствами, в особенности альбатрос и мифический белый лебедь. «Т.Д.», 1, 488.

8

Здесь: пустое место (*лат.*).

9

Огню (*греч.*).

Выше упоминается автором как Ржавск.

Приборы, замыкающие сильный ток, но приводимые в действие слабым током.

Описка автора. Имеется в виду Кирпичников.

Благодарим Вас за то, что воспользовались проектом NemaloKnig.com - приходите ещё!

[Ссылка на Автора этой книги](#)

[Ссылка на эту книгу.](#)